

Любовный
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН



Елена
АРСЕНЬЕВА
Роковое
ЗЕЛЬЕ

Елена Арсеньева

Роковое зелье

«Автор»

2008

Арсеньева Е. А.

Роковое зелье / Е. А. Арсеньева — «Автор», 2008

ISBN 978-5-699-25403-3

В недобрый час свела судьба масона Алекса и русскую девушку Дашу. Злая судьба против любви Даши и черноглазого испанца – девушка приглянулась мальчику-царю Петру Алексеевичу, став помехой браку с ним своей троюродной сестры Екатерины. А засланного в Россию с секретным и важным заданием Алекса ограбили, украв самое важное – яшмовый сосуд с зельем, которому подвластно все – ум и жизнь тех, кто его пробует. Даша попадает в страшную историю, так и не подозревая, кем является ее возлюбленный Алекс...

ISBN 978-5-699-25403-3

© Арсеньева Е. А., 2008

© Автор, 2008

Содержание

Пролог	5
Август 1729 года	8
Январь 1727 года	12
Август 1729 года	15
Июнь – ноябрь 1727 года	19
Август 1729 года	20
Ноябрь 1727 года	24
Август 1729 года	26
Апрель 1728 года	30
Август 1729 года	35
Август 1727 года	40
Август 1729 года	43
Октябрь 1728 года	48
Август 1729 года	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Елена Арсеньева

Роковое зелье

*Ты думаешь, что ты двигаешь,
а это тебя двигают.*

Гёте

Пролог

...Его гнали, как гонят дикого зверя, – по кровавому следу. И не надо было оглядываться, чтобы почуять погоню: он слышал распаленное дыхание преследователей, их азартные голоса:

– Туда, туда! Смотри, вон кровь! И там, и там!

– Вижу. Ату его!

И третий голос – самый для беглеца страшный, ибо именно этот голос отдавал приказание о его убийстве.

Голо, каменисто было вокруг, спрятаться негде, ни укрытия, ни кустика; наконец отсветы затаившейся меж туч луны помогли разглядеть впереди достаточно глубокую расщелину. Все вокруг уже успело остыть после наступления ночи, холод мгновенно сменял в этих краях раскаленный дневной жар, беглеца била дрожь не только от страха или потери крови, но и от стужи, а эта расщелина мнилась не только темной, но и отчего-то теплой, воистину спасительной.

Ему оставалось три-четыре шага, чтобы добраться до нее и кануть в эту благословенную, непроницаемую тьму, отдышаться, перетянуть рану на плече, которая была так близко, слишком близко к яремной вене – это чудо, что лезвие разбойного ножа не зацепило ее! – да, ему оставалось каких-нибудь три-четыре шага до *жизни*, когда луна вдруг вырвалась на небо, изгнав с него мелкие, тускловатые звездочки, спрятав их, словно тридцать потертых сребреников, полученных за предательство. Он услышал слитный торжествующий вопль своих преследователей, но не сдался – рванулся вперед в последней, отчаянной, слепой, нерассуждающей надежде на милосердие Божие. Однако Господь-вседержитель был, похоже, отвлечен нынче делами иного свойства, он даровал милостью своею кого-то другого, более достойного, а может, чаша грехов этого преследуемого, затравленного человека уже переполнилась сверх всякой меры – во всяком случае, отец наш небесный не простер руку свою, не прикрыл ею беглеца... и тот всем лицом уткнулся в скалу.

Благословенная расщелина, к которой он так стремился, оказалась лишь игрою света и тени, непроницаемой каменной стеной, и, чтобы пройти ее, следовало бы знать нечто гораздо более значительное и могущественное, чем таинственные, чародейные слова: «Сезам, откройся!» А он не знал таких слов. Крики его убитых слуг зазвучали в голове, словно дальнее эхо: души эти несчастных еще не успели далеко отлететь, но уже прониклись потусторонним всеведением. Они знали, что скоро встретятся со своим хозяином и другом, они приветствовали его и ободряли. И ему оставалось лишь прильнуть всем лицом к немилостивому камню и, шепча последнюю молитву, принять удар в спину: роковой удар, смертельный.

Он не был трусом и не повернулся не потому, что боялся. Он просто не хотел видеть красивое, равнодушное лицо человека, который убьет его.

А впрочем, нет. Красивым оно быть не могло. Лицо предателя и убийцы всегда безобразно.

* * *

...Его гнали, как гонят дикого зверя, – по кровавому следу. И не надо было оглядываться, чтобы почуять погоню: он слышал распаленное дыхание преследователей, их азартные голоса:

– Туда, туда! Смотри, вон кровь! И там, и там!

– Вижу. Ату его!

Эти голоса мешались в помутившемся сознании с криками его убиваемых слуг и этих двух несчастных, мужа и жены, которые лишь по случайности оказались нынче вечером на постоялом дворе – и принуждены были разделить судьбу и смерть с обреченными. Алекс отчего-то не сомневался, что он и его спутники были обречены, что нападение было обдумано заранее, это не просто внезапно вспыхнувшее желание ограбить богатых иностранцев (тем более что и Алекс, и его спутники выглядели весьма скоромно) – нет, его ждали в этом доме. Недаром проводник тянул время в пути, ну а потом, когда уже затемно прибыли в Лужки, очень старался доказать, что непременно нужно сделать крюк и заночевать именно здесь, на другом конце деревни, а не в первой попавшейся избе.

Впрочем, дома остальных туземцев поражали убожеством, а это было единственное приличное строение: просторное, в два яруса, чистое и опрятное даже внешне. Хоть Алекс и наглядился на русскую бедность и неустроенность, мог бы, кажется, обвыкнуться с ними, но нет – они по-прежнему внушали ему отвращение. Воистину, это была дикая страна, вернее, обиталище диких людей, и Алекс отчаянно стыдился своего кровного родства с ними – теперь почти забытого, известного, по счастью, лишь немногим...

Но сама земля здешняя поражала красотой и благолепием, словно Господь был в особенном, просветленном расположении духа, когда созидал ее, и красота эта невольно находила горделивый отклик в его сердце. Впрочем, Алекс вспоминал письма своего будущего патрона и старался охладить себя: ведь это буйное цветение не вечно, лето здесь заканчивается быстро, а на смену приходит зима, настолько свирепая, что даже германские стужи покажутся в сравнении с ней мягкими оттепелями, а уж ветры Атлантики, охлаждающие берега Испании, вовсе почудятся нежными зефирами¹. Но сейчас до зимы еще было далеко, сейчас стояло лето, все вокруг роскошествовало красками и ароматами, кружило голову, все жило и наслаждалось жизнью! Сама мысль о смерти в такую пору кажется кошунственной, оскорбительной нелепостью, словно застывший в последней ухмылке оскал черепа.

Однако этот жуткий череп смерти уже заглянул в глаза Алекса черными провалами зениц и сейчас, в минуты последнего помрачнения, почудился ему пугающе схожим с чертами того человека, которого он убил сам, своими руками, недавно... убил в Испании таким же роковым ударом, как тот, от которого погибает сам. И особенное, внушающее немислимую тоску совпадение заключалось именно в том, что первый удар оказался недостаточно меток: истекающей кровью жертве удалось на некоторое время ускользнуть от преследователей и испытать пытку последней, несбывшейся надеждой на спасение, пока его не настигли и не добились.

Его собственные надежды тоже не сбудутся, знал Алекс, его тоже настигнут и добьют – вот сейчас, через мгновение, – но поверить в это было так трудно, так невозможно, что он невольно воззвал к Господу и Пречистой Деве, и ему показалось, что кто-то чужой бормочет рядом слова молитвы на местном наречии, хотя это он сам вдруг вспомнил полузабытый язык своего детства и невольно выговорил по-русски:

– Господи, помилуй! Матушка Пресвятая Богородица...

Бог был на небесах, его Пречистая Матерь – там же, далеко и высоко, а преследователи – вот они, рядом! Та тьма, которая представала пред Алексом сплошной путаницей теней,

¹ В античной мифологии Зефир – бог теплого и мягкого западного ветра.

кустов, листьев, была проницаема их привычным взорам, они не сбивались с пути, видели смятую тяжелыми шагами траву, кровь на этой траве, слышали надсадное дыхание беглеца, и даже стоны, которые он давил в груди, чудилось, были слышимы ими!

Алекс вдруг ошутил, что не силах сделать больше ни шагу, и начал валиться вперед, но наткнулся на какое-то дерево – и удержался на ногах, обхватив его стройный ствол. Прильнул лицом к прохладной шелковистой коре. Это была береза – да, ствол нежно белел в темноте, словно обнаженное, стыдливое тело. В последнем проблеске прощания с жизнью Алекс вдруг с болью подумал, что никогда уже не узнает, как это бывает – когда для тебя, для тебя одного мерцает в ночи тело любящей, ждущей, нагой женщины. Не потому не узнает, что это воспрещают его обеты, – просто не успеет. Смерть уже держала его за ворот, уже тащила в свои объятия. Смерть – она ведь тоже женщина, она ревнива, она не упускает добычу...

Не хотелось поворачиваться, он цеплялся за этот нежный березовый ствол, прижимался к нему, словно любовник, который прижимается к телу возлюбленной, ловя последние искры летучего наслаждения... И вдруг пронзительный визг раздался за его спиной – такой внезапный, такой страшный, что Алексу показалось: бездны ада наконец-то разверзлись, и все силы тьмы вышли, чтобы отнять его душу. Мелькнуло еще полудетское изумление: как же так, его уверяли, будто ничто не слишком в битве за *истину*, все средства хороши, и цель оправдывает средства, можно нарушить хоть все семь Божьих заповедей враз и по отдельности, и это будет благоугодно Господу, а получается – нет, ежели открылись ему не врата рая, а глубины преисподние?!

Но тут сердце замерло, сознание покинуло его, он соскользнул по стволу наземь и простерся в высокой траве, запятнанной его кровью. И на белой коре тоже остался кровавый след, словно именно береза была ранена нынешней судьбоносной ночью, – береза, а не человек.

Август 1729 года

– Это еще кто?! – Могучий, ражий и рыжий мужик разглядывал стоящего перед ним парнишку с таким видом, словно не мог поверить своим светлым навывкате глазам. – Спеси в тебе что в собольем воротнике на боярской шубе!

Ну, если здесь кто-то и казался спесивым, то это сам хозяин с его вольно расправленными плечами (иначе не сносить толстого, выпирающего живота), надменно поднятыми бровями и презрительно искривленными губами. Он мог себе позволить такую повадку: первый человек в Лужках, самый крепкий хозяин, к тому же староста. Когда князь-батюшка наезжает в Лужки – на охоту, скажем, или просто доглядеть свое имущество (по пословице: «Хозяйский глазок – смотрок!»), он всегда останавливается у Никодима Сажина, не брезгуя его избой, которая, по собственному князьему выражению, более напоминает терем. Чистота, покой, полное удовольствие для хозяина Лужков и самого Никодима. Случается, и другие господа, спешащие в Москву (Лужки стоят хоть и не на самой проезжей дороге, но все же хорошо с нее видны, так что, не хочешь ночевать на обочине – свернешь туда), просят у Никодима приюта, и он не отказывает никому. Да вот не далее как две недели назад ночевали у него добрые люди – угрюмый и диковатый иноземец со свитой и еще пара: муж с женою, спешившие в Москву по каким-то своим делам. Хорошие оказались гости, грех Бога гневить...

Никодим с ухмылкой перекрестился, полностью отдавшись своим, только ему понятным мыслям, и недовольно вздрогнул, услышав рядом позвякиванье удил: усталый, как и хозяин, конек парнишки встряхнул головой.

Никодим оценивающе оглядел высоконького и худенького юнца. Совсем дитяtko, даже и первого пуха на подбородке неросло! Личико нежное, будто у девчонки, но глаза строги и холодны, словно два сизых озерца, уже подернутых ранними осенними заморозками. Встречают, конечно, по одежке, а одет был незнакомец в какой-то нищий кафтанишко и портки с залатанными коленками и хилой веревочной вздержкой, однако именно выражение его глаз заставило Никодима остановиться, взглянуть повнимательнее и даже отвечать, когда неприметный на вид бродяжка вдруг попросился на ночлег к нему, хозяину наилучшего дома в Лужках! Мог бы, кажется, остановиться у околицы: что вдова Матвея Ваньшина, что угрюмый бобыль Тиша Коровин охотно дали бы приют хожалому человеку. Нет же – юнец не поленился пройти полсела, а главное, не сробел обратиться к Никодиму Митрофаньчу, и при этом единственный знак почтения, который ему оказал, – шапку сдернул с русоволосой, небрежно стриженной головы. И то не сразу, а несколько погодя, точно забывшись. Как если бы непривычен он был ломать пред кем-то шапку! И поклона не отдал – тоже как бы непривычен был шею гнуть перед каждым-всяким. И хотя вроде бы просил, но униженным просителем не выглядел. Более того – под взглядом его холодноватых глаз Никодим сам ощутил себя вдруг не то что не первым, но вовсе последним человеком в деревне. Таким, бывало, ощущал он себя, когда князь-отец готовился наорать на него, а то отвесить заушину с оплеухой, зуботычин надавать. Поначалу глаза его становились вот так же студены, надменны, неприступны, словно в одно мгновение он возносился на некие высоты, где раздают людям барского звания права карать и миловать смердов своих.

Вот оно! Вот что насторожило Никодима с первой же минуты в этом странном парнишке, вот что заставило слушать его, говорить с ним, размышлять о том, почему какой-то замарашка худородный нахрапом прет в наилучшую избу, словно к себе домой, не желая помнить ни места своего, ни чина. Парнишка держался так, словно имел на это некое право, и его уверенности в себе не могли скрыть убогая одежда и осунувшееся от усталости лицо. Конечно, может статься, что этот кафтанишко, поношенный, однако суконный и хорошего крою, достался ему с плеча какого-нибудь сердобольного барина. И от того же барина перепали портки – пусть

линялые, но не холщовые, домотканые, а саржевые – и просившие каши сапожки со сбитыми каблуками. Однако выглядел парнишка как человек, привыкший носить хорошую одежду. Он явно тяготился своими обносками. Ну а сбруя его заморенного коняшки была вовсе новая, справная! Это значит... Это значит... Еще не успев толком осознать, какая мысль выклевывается в голове, словно птенец из яйца, Никодим милостиво кивнул:

– Давай, вали в избу, так и быть. Нынче я добрый. Нынче тятеньки моего покойного година... об эту пору прошлым летом преставился от грудной жабы!

Он перекрестился и провел согнутым пальцем под сухим глазом, отирая воображаемую слезу.

Стоявший рядом низкорослый и чрезвычайно тщедушный человечек с нелепой, раздутой и в то же время удлинённой, словно семенной огурец, головой, выглядевший рядом со статным, раздобревшим Никодимом какой-то ошибкою природы, в точности повторил его движение и выражение лица. Он, как и хозяин, преотлично знал, что отец его, Митрофан Сажин, тоже староста деревенский, преставился не прошлым летом от грудной жабы, а был насмерть забит в пьяной драке аж двадцать пять лет назад, после чего все Лужки вздохнули свободно... ненадолго, впрочем, потому что вскоре начал входить в возраст и силу Никодим Митрофаныч, оказавшийся достойным преемником своего тятеньки! Тем не менее Савушка, шурин, приживал и ближний человек Никодимов, ни словечком не поперечился лгущему сроднику, а только нагнал еще больше морщин на свое и без того сморщенное личишко, состроив на нем выражение крайней печали.

За те восемнадцать годков, что жил он при Никодиме, женившемся на его сестре Анне, Савушка научился понимать сродника и хозяина с полуслова и изрядно заострил свой и без того нехилый умишко. Он мигом постиг ход Никодимовых мыслей и уже видел, как станут развиваться события дальше. Времена нынче лютые, немилостивые... а когда они не были такими на святой Руси, нашей матушке?! Немало разных татей и лиходеев таскается по проселочным дорогам, норовя малость разжиться за счет ближнего своего.

Только очень крепкие господа отваживаются путешествовать в подлинном своем обличье – но непременно внушительным поездом, с многочисленной свитой и под надежной охраной, отпугивающей всякого лесного жителя, от голодного волка до разбойничка. А что касемо народа попроще... Савушка знал, что иные хитрые люди, отваживаясь пуститься в дорогу в одиночестве (мало ли какая нужда человека гнать может?), принимали облик самый что ни на есть неприглядный, дабы не искушать малых сих, жаждущих кровавой поживы. И Савушка готов был поклясться последними волосенками, еще кустившимися на его плешивой головешке, что юнец, смело и прямо стоящий перед Никодимом Митрофанычем, один из таких достаточных господ, который скрывает свое истинное положение... и содержимое своего кошелька, наверняка припрятанного под складками потертого кафтана. Иные шьют широкие пояса с многочисленными кармашками и прячут добро туда. Пояса потом надевают на голое тело, не снимая даже на ночь, даже засыпая, так что добраться до червончиков непросто... непросто, но вполне возможно. Надо лишь ухитриться устроить так, чтобы владелец пояса уснул без просыпу. Для умелого человека – плевое дело! И Савушка растянул губы в такой довольненькой улыбочке, что любой приметливый человек при виде ее повернулся бы на пятках и дал тако-ого дёру от этого приманчивого дома и вообще из Лужков...

Но, судя по всему, юнец, просившийся на ночлег к Сажину, не отличался особой приметливостью, и Савушкина плотоядная ухмылочка осталась им не замечена. И он покорно последовал за Савушкой, который провел его по узкой лесенке в просторную комнату под самой крышей, где под стенками стояли четыре топчана да еще валялись на полу охапки соломы. До этого гость попытался было сам заняться своим конем, расседлать, напоить, почистить, но Савушка кликнул мальчишку с конюшни и поклялся, что скакуна не оставят без заботы, обиходят еще ласковей, чем всадника. Юнец смерил Савушку холодноватым взглядом, и тот

обратил внимание, что веки гостя вспухли, а глаза покраснели – наверное, от бессонных ночей и дорожной пыли. «Спать крепче будет!» – довольно подумал Савушка и опять ухмыльнулся.

– Где мне лечь? – спросил гость, оглядывая комнату и пряча руки в рукава великоватого ему кафтана. Савушка заметил, что пальцы его побелели и дрожат.

– Да где понравится, хоть бы вон под той стеночкой, там не дует. А станет холодно, ряднинкой покройся. Ночи, правда, душные, но я гляжу, тебя знобит. Озяб? Или с устатку?

– Да, я устал, – сдержанно отозвался гость, пристально глядя на раскаленно-алый солнечный шар, катившийся к закату.

– Ужинать будешь? Хлебы нынче пекли, еще горячи. А уж запах сладок... – Савушка, большой любитель горяченького хлебца (пускай с него брюхо пучит, но больно вкусен!), громко сглотнул.

– Не голоден я, благодарствую. Сколько с меня за постой? – спросил гость, так же неотрывно глядя в окно. Алые закатные отсветы пятнали небо, словно кто-то пробежал по светлой глади, оставив окровавленные следы. Парнишка на мгновение зажмурился и покачнулся, но тут же сердито мотнул головой и выправился.

– Хозяин утром сочтет, – отмахнулся Савушка, окидывая юнца приметливым взором и пытаясь угадать, запрятано добро его по карманам либо и впрямь в пояс вшито. – Тебя как звать-величать, гость дорогой?

– Данька... Данила то есть, – выговорил парнишка с некоторой запинкой. – Мне бы лечь. Устал с ног валит.

– Спи с Богом, Данила, – со всей возможной приветливостью пожелал Савушка, окидывая его прощальным взглядом. – Эй, ты где так вывозился? С волком братался, что ли?

Юнец окинул себя суматошным взглядом и проворно стряхнул с кафтана несколько клочков серой шерсти. Исхудалые щеки его слегка порозовели.

– Псина какая-то приبلудилась перед деревней, кинул я ей корку, она на радостях меня всего облизала да измарала, – пояснил он, подходя к окошку и выбросив комочек шерсти во двор.

Савушка удивился. Любой другой швырнул бы мусор на пол, вот и вся недолга. А этот... Ох, правы, судя по всему, окажутся они с Никодимом. Непростой это человечек. Загадочный! Но да ничего. У них впереди целая ночь, с лихвой хватит времени все загадки разгадать!

Он вышел, притворив неслышно дверь. Вообще все двери в доме Никодима висели на смазанных петлях и открывались да закрывались совершенно бесшумно. Кто-то скажет, доглядчивый, мол, хозяин. Но...

Ладно, не об том речь.

Юнец, назвавшийся Данькой, с явным облегчением перевел дух, словно даже дышать не мог в полную силу в присутствии Савушки, а потом провел руками по лицу, будто умываясь. Когда опустил их, стало видно, что он и впрямь «смыл» это свое надменное, равнодушное выражение. Теперь в чертах его отчетливо видны были полудетский страх, отчаяние и растерянность. Он высвободил из рукавов тонкие дрожащие пальцы и стиснул их движением крайнего отчаяния.

– Господи! – прошептал пересохшими губами. – Господи, дай мне силы!

Как страшно сделалось, когда этот уродливый человечек вдруг заметил на кафтане шерсть Волчка! Подумаешь, невелика вроде бы беда, собачья шерсть, но ведь на воре, как известно, шапка горит. Даньке почудилось, будто маленькие черненькие глазки прожигают его насквозь, прозревают все его тайные помыслы. Но все же удалось отовратиться... кажется. Ладно, ночь покажет! Ночь даст ответ на все вопросы.

Теперь главное – не уснуть.

Данька присел на топчан – не тот, на который указал Савушка, а прямо под окошко. От обильно пролитых совсем недавно слез до сих пор колотит. Ни от какой не усталости, а именно от тех горьких слез, которым, казалось, исходу не будет. Но слезы иссякли, на смену им пришли холодная решимость и ненависть. Она, эта ненависть, будет всю ночь придавать ему бодрость, она даст силы выждать, высмотреть, узнать, понять... отомстить!

Тяжело дыша, Данька привалился головой к подоконнику. Как болят глаза, словно песку в них насыпали. Зажмурился – сразу стало легче. Не заснуть бы... да нет, как можно? Спать нельзя! Он ни за что не уснет!

С этой мыслью Данька провалился в сон так же стремительно, как человек в темном ночном лесу проваливается в ловчую яму, предательски оказавшуюся на пути.

Январь 1727 года

За высокими окнами дворца Прадо сияло солнце, однако ветер дул ледяной. Дворец был настолько пронизан сквозняками, что вполне уместными казались и яркое пламя, играющее в огромном, похожем на дом, камине в королевском кабинете, и отделанная мехами одежда двух господ, стоявших друг против друга.

Один из них – плотный, низкорослый, с высокомерным лицом человека, привыкшего повелевать, был сам король Испании Филипп V. Его собеседник тоже не отличался высоким ростом, но обладал по-юношески изящным сложением, аристократическими, маленькими руками и ногами. Трудно было дать этому человеку те тридцать пять лет, которые он прожил на свете. Оливковое, с точеными чертами лицо его было гладким, губы яркими, в черных волосах и аккуратной, едва заметной, весьма кокетливой бородке не нашлось бы и намека на седину. Правда, мало кто знал, что герцог Иаков де Лириа – а имя и титул его были именно таковы – заботливо вырывает все седые волоски из своих пышных волос, а в дополнение к этому поддерживает их черный как смоль цвет с помощью особой краски. Герцог весьма заботился о своей внешности и считался одним из красивейших мужчин при дворе Филиппа. Он знал о своей красоте и, подобно Нарциссу, не уставал ловить взором свое отражение во всех зеркалах, стеклах и витринах книжных шкафов, коими был уставлен королевский кабинет.

Король отлично замечал это и с трудом сдерживал усмешку. Фельдмаршал, камергер, де Лириа был внуком (от внебрачного сына, Фицджерейса) изгнанного и умершего в Испании английского короля Иакова II. Католическая церковь считала его одним из самых вернейших своих сыновей. Однако своими кокетливыми повадками де Лириа мог дать фору любой придворной красотке. Пристрастием к высоким, сильным, широкоплечим мужчинам – тоже... Впрочем, король Филипп был монархом мудрым, снисходительным к некоторым маленьким слабостям своих придворных – особенно если эти слабости были присущи столь полезному и умному человеку, как герцог де Лириа. И если раздражение порою начинало закипать в его душе, особенно когда устремленные на собственное отражение глаза де Лириа становились слишком уж томными, король умело подавлял его. Ведь ему недолго оставалось терпеть причудливые замашки герцога. Сегодня его величество давал де Лириа прощальную аудиенцию, вручая ему подписанные кредитивные грамоты к русской царице Екатерине, императрице Иберии и Персидских областей². Уже завтра де Лириа предстояло кружным путем, через Италию, выехать в Московию для того, чтобы приступить к исполнению обязанностей испанского посланника, полномочного министра³ при русском дворе.

– Первое внимание при исполнении вашего служения должно быть обращено на ваше поведение, – отеческим тоном сказал король, пытаясь перехватить неуловимый взгляд де Лириа. – Ведите себя во всем с таким тактом, с такой скромностью, чтобы вы лично и ваши слуги были образцом для каждого; пусть все служит к вашей похвале, да не будет в вашем поведении ни малейшего повода к вашему осуждению.

Намек был, очевидно, слишком тонок. Де Лириа и бровью не повел, а между тем король был осведомлен о том, что супругу свою герцог оставляет в Мадриде. С ним же в Россию выезжают четверо кавалеров, желающих разделить его одиночество в стране северных варваров, но главное – в составе сотрудников посольства едет Хуан Каскос, секретарь де Лириа. Личность этого господина, по слухам, является предметом постоянных раздоров между герцогом и его супругой...

² Так называли русских императоров в Испании – согласно исторической традиции испанской дипломатии, сохранившейся еще в XVIII в.

³ В описываемое время дипломатов, особенно посланников, часто называли министрами.

«А впрочем, Бог с ними со всеми, – мысленно отмахнулся король, который не уставал радовать страстную королеву Елизавету Фарнезе, итальянку по происхождению, своим вниманием. – Разве я сторож брату моему?»

Он продолжал свои наставления:

– Вы знаете, что такая осторожность уже сама по себе весьма нужна для вашей службы и для исполнения возложенных на вас обязанностей; но она тем более важна при дворах, которые не исповедуют нашей святой религии и где поступки, дела и слова католиков служат предметом внимания и обсуждения. Позаботьтесь жить с вашими домашними без малейшего повода для соблазна и в великом страхе Божиим – это послужит главнейшим шагом к успеху дела.

Блестящие глаза де Лириа приковались к лицу короля, сощурились. О нет, герцог вовсе не был глуп или легкомыслен. И как только речь зашла о том, что он действительно считал важным, как он сумел напрячь все свое внимание. Ведь король имел сейчас в виду не только и не столько установление хороших отношений с Московией, сколько продвижение на восток католической церкви, успеху чего должен был способствовать де Лириа. Впрочем, в этих вопросах его надлежало проинструктировать архиепископу Амиде, иезуиту и духовнику королевы, ведавшему дипломатической перепиской. Де Лириа тоже был иезуитом, однако предполагалось, что Филиппу сие неизвестно. Поэтому король вновь перешел к разговору о сугубо светских делах:

– Хотя Московия по своему расстоянию от моих владений, по своим делам и интересам мало может иметь общего с моей монархией и ее силы, впрочем, значительные, не могут много влиять на наши силы, однако же не мешает поддерживать с нею дружбу и быть с нею в добрых отношениях, особенно при настоящем положении дел. Ведь если бы она пристала к государствам, оставшимся недовольными трактатом мира, заключенным в Вене 30 апреля 1725 года, например, к Англии или Швеции, то дала бы громаднейший перевес их союзу и их намерениям, во вред интересам моим и моих союзников, присоединившихся к сказанному трактату.

Де Лириа окончательно перестал шнырять глазами в поисках своего привлекательного отражения и слушал очень внимательно. Дальнейшие слова короля были для него чрезвычайно интересны, ибо речь шла и о его собственном будущем. Ему было приказано заключить прямой торговый трактат между Испанией и Россией на тех же условиях, на которых он был заключен между Россией и Австрией. Король ожидал скорого разрыва своих отношений с Англией и приказал своим послам смотреть в этом случае на Россию как на лучшего друга и помощника. Герцогу де Лириа предписывалось всеми способами воздействовать на русскую императрицу, чтобы она завела сильный флот в Архангельске, откуда она может сделать диверсию в Англию для возвращения престола королю Иакову III Стюарту и для восстановления равновесия в Европе.

Де Лириа, как близкий родственник Иакова, радея за него, радел и о собственных интересах. Россия католическая, Россия – союзница Испании, Россия, возвращающая английский трон претенденту... Ради этого стоило заживо похоронить себя в сугробах! Ради этого английскому дворянину королевского происхождения и испанскому дону стоило склонить гордую спину перед императрицей варварской страны, перед этой женщиной, репутация которой заслуживает не то что всяческого осуждения, но даже осмеяния! С другой стороны... Во всех делах всегда имеется другая сторона.

Как ни равнодушен был Петр Первый к православной вере, как ни заигрывал с лютеранами и даже с масонами (по слухам, он был принят в ложу самим Кристофером Реном, строителем храма Святого Павла в Лондоне!), он все же не терпел прямого вмешательства чуждых конфессий в дела собственного государства. Тем паче – вмешательства иезуитов – тех самых, которые оказывали покровительство царевичу Алексею во время его скитаний по Европе и даже пытались спрятать его от праведного отцовского гнева. Затем они решили оказать покровительство самому вероятному наследнику русского престола – сыну Алексея, царевичу Петру.

Посредство в этом они надеялись сыскать у императрицы Екатерины. Бывшая Марта Скавронская (именно так звали мариенбургскую пленницу, прихоть судьбы оказавшуюся на русском троне) лишь недавно обрела утешение в греческой вере⁴ и не больно-то ценила ее... вдобавок брала пример с супруга-атеиста!

Капуцин Петр Хризологиус, объявившийся в Петербурге, привез русской государыне привет от римской императрицы⁵ – честь неслыханная для этой выскочки! Чтобы считать себя равной с потомственными цесарями, Екатерина готова была на все и весьма благосклонно отнеслась к просьбе Хризологиуса устроить ему аудиенцию у малолетнего великого князя Петра Алексеевича. Однако происки Хризологиуса сделались известны Синоду, а потом и императору. Хризологиус незамедлительно был выслан из Петербурга, а Екатерина, пытавшаяся его защищать, вынуждена была притихнуть, ей потребовалось немалое время, чтобы восстановить мирные отношения с мужем.

Теперь Петр в могиле, на престоле Екатерина. Если повести дело умно, ситуация может сложиться самая благоприятная! Самое время для проникновения ордена в Россию!

Де Лириа в волнении потер сухие, изящные пальцы. Самые честолюбивые надежды ожидали в нем...

⁴ Греческой, схизматической или ортодоксальной называют православную веру.

⁵ Титул цесарей Священной Римской империи германской нации носили австрийские императоры, считавшие себя наследниками величия Древнего Рима – с согласия папы римского, поскольку исповедовали католицизм.

Август 1729 года

Вдали лаял, надрывался Волчок. Данька вскинул голову и первые мгновения никак не мог понять, где он находится, почему ломит все тело, почему заходится в рычаниях пес.

Луна смотрела в окно, жадно вглядывалась в Данькины еще незрячие после глубокого сна, затуманенные глаза. Он вспомнил пугающе-красивый, кровавый закат... откуда вдруг взялась ночь, ведь еще минуту назад был вечер?!

Постепенно дошло, что минута сия давно миновала. Уснул! Лай Волчка ему всего лишь снится, потому что Данька позорно уснул, сидя под окошком! А ведь намеревался караулить, стеречь, выслеживать. Он хотел обшарить всю эту мерзкую комнатку, ставшую последним пристанищем его родителям, может быть, отыскать хоть какой-то их след, памятку какую-то... А теперь разве отыщешь – в темнотище? Да и времени больше нет. Проспал, проспал! Каков, а? Вполне заслужил, чтобы к нему пришли, словно к жертвенному баранчику, взяли, скрутили, заклали, невзирая на крики и мольбы. А то и просто полоснули легонько ножичком по горлу – он так и не проснулся бы.

Нет, уберег Господь. Данька, еще когда из дому в путь отправился, знал, что именно Господь его наставил на путь, помог найти Волчка, направил на нужную дорогу, вывел на след убийц. А теперь не дал заспать собственную погибель, словно в ухо шепнул: «Берегись, Данюша!» И он проснулся – как раз вовремя, чтобы услышать шорохи на лестнице.

Шаги... Двое идут. Один чуть слышно ступает впереди, другой тяжело переваливается на несколько ступеней ниже.

Впереди, конечно, крадется этот тщедушный мужичонка с головенкой огурцом. Экая погань, глазам смотреть противно! Крадется, ощерив в азартной ухмылке гнилые зубы. В руках у него небось острый ножичек, друг-разбойничек, кровопийца записной, ночных дел мастер. Ножик режет, ножек порет, ножик отнимает жизнь быстро, бесшумно, коварно... Следом за слугой топает хозяин, в руках у него, наверное, топор или вовсе колун полупудовый. Этот бьет не разбирая по головам строптивцев, не пожелавших помирать после первого ножевого тычка. Дробит черепушки, брызги крови и мозга разлетаются кругом, так что потом хозяйской жене или дочери приходится долго замывать следы кровопролития, подоткнув подол и сильно отжимая в ведре тряпку, распускающую в мутной воде красные подтеки...

Данька стиснул зубы, подавляя приступ тошноты, вскочил. О чем он? На что время тратит? Так и досидится, право слово, до беды! Вспомнилось, как еще вчера, лежа в обнимку с полуживым от горя Волчком на небрежно насыпанном земляном холмике, мечтал об одном: умереть вот здесь, вот сейчас, потому что пережить страшное открытие, перетерпеть боль в сердце казалось невозможным. Но удалось скрепиться... не для того же, чтобы пасть бессловесной жертвой убийц! Он хотел увидеть их, посмотреть им в глаза, обнаружить их повадки. Увидел, посмотрел, обнаружил. Убедился: именно здесь, в этой комнатке под крышей, находят свой конец те ночевальщики, которые покажутся хозяевам богатой добычей. Потом трупы зарывают в лесу как попало, не боясь кары ни людской, ни Господней. Ну, такие лютые лиходеи всегда уверены, что в минуты совершаемых ими злодейств Господь смотрит в другую сторону. А вот что они не боятся людского суда... не значит ли сие, что есть над ними кто-то могущественный, на чье прикрытие в случае чего и надеются злодеи?

«Чьи вы?» – спросил вчера Данька у какой-то бабульки, встреченной за околицей, но так и не добился ответа, чья это вотчина. То ли бабка уже плохо соображала от прожитых лет, то ли не хотела ничего говорить, потому и притворялась полуглухой и косноязычной. Все, что удалось узнать, что денежные проезжие останавливаются обычно в доме у старосты. Туда и ринулся Данька со всех ног... а теперь, похоже, пора с той же скоростью ноги отсюда уносить.

Вряд ли к нему среди ночи идут только для того, дабы осведомиться, что гостю дорогому будет угодно откусить на завтрак. Его идут убивать, нет сомнения. Как убивали других... не раз.

Данька выглянул в окошко. Ничего, спрыгнет – ног не переломает. И не с таких высот прыгивали! Главное – потом перебежать незаметно двор, залитый лунным светом. Где-то перебрехиваются собаки... спускают ли их на ночь? Волчок бы дал им жару, но Волчка пришлось привязать к дереву на лесной опушке, иначе Даньке нипочем бы не отвязаться от него. Умнейший пес понял дерзкие намерения хозяина и почуял ту опасность, которая кроется за сим безрассудством. Но чего мог он добиться своим истошным воем и жалобным, надрывным лаем? Даже если бы кто-то всеведущий и знающий, чему вперед быть, в это мгновение предупредил Даньку, что непременно прольется его кровь в комнатке под крышей, это его все равно не остановило бы. Боль и горе настолько помutilи его разум, что он словно не в себе был тогда...

Правда что не в себе! Разве можно было притащиться в это змеиное гнездо, ведя в поводу коня? Теперь Рыжак стоит расседлан в хозяйской конюшне, куда нипочем не пробраться. Все, можно проститься с конем... а как Данька дальше пойдет? Ведь до Москвы, где он надеется найти защиту и правду, еще много верст пути! Донесут ли ноги?

Но тут снова ожгло его мыслью, что ноги донесут куда угодно, если на плечах голова останется. А ему сейчас с минуты на минуту грозит с этой головою проститься навеки. Вот скрипнуло уже не на лестнице, а под самым порогом, вот уже тихо-тихохонько дверь начала отходить от косяка...

Данька оперся одной рукой о подоконник – и прыгнул в лунный свет, как в воду. Ох уж этот лунный свет...

Пока летел – больно долго! – просвистело (словно ветер в ушах) в памяти воспоминание, как уронил однажды с бережка в прозрачную воду что-то, теперь уж и не вспомнить, может быть, грузило, прыгнул за ним, думая, что дно с игрою солнечных зайчиков на песочке – вот оно, а канул в чистую, опасную глубину с головкой, ручками и ножками и едва не захлебнулся от неожиданности. Предательскую шутку сыграл с ним тогда солнечный свет – а теперь ту же шутку сыграл и лунный, исказив высоту. Данька так ударился ногами, что не удержался от крика и повалился на колени, на какой-то жуткий миг уверясь, что больше не встанет, что его придавят вот тут, на плотно убитой земле двора, как давят майского жука, на полном лете налетевшего на стену и упавшего, одурев от удара, наземь...

Потом он ощутил, что ноги повинуются, кое-как поднялся и побежал, прихрамывая, к забору. А сверху уже заблажил высунувшийся в окно гнилозубый:

– Держи вора!

Самое страшное, самое побудительное на Руси – крикнуть вслед бегущему, мол, лови-держи-хватай. В погоню ударяются все, кому надо и не надо. Почудилось, даже темнота у крыльца зашевелилась алчно, вытягивая к Даньке свои сгустки, готовая схватить. А сейчас проснутся работники, слуги... И минуты не пройдет, как схватят!

Данька всем телом ударился в забор – высокий, плотный, доска к доске, – зашарил по нему, выскывая калитку. Вот ворота. Заложены на тяжеленный брус – трем богатырям не поднять! Вот и калитка... на замок заперта, замок цепью обвит, ну а ключ небось запрятан подальше, чем Кощеева смерть.

На миг зажмурился, пытаясь унять переполох, отнимавший способность мыслить, принуждавший рухнуть наземь, забить ногами, завывать истошным голосом. А если голову потеряешь – это все, гибель. Открыл глаза – и опять едва сдержал крик: с крыльца уже сыпались темные фигуры, разводили руками, хлопали ладонями, словно пытались кур ловить... Не сразу догадался: да ведь преследователи не видят его в густой, непроницаемой тени! Он для них незрим, им кажется, что беглец растворился в ночи. Какое-то время пройдет, прежде чем поймут: никуда он не ускользнул, а просто затаился. Нельзя им дать это время.

Данька начал осторожно передвигаться вправо, пытаясь под прикрытием забора обойти дом. Может быть, там еще нет народу, может, удастся найти лазейку и выскользнуть из этой западни, которую он сам себе устроил? Какое-то время его маневры проходили успешно, однако рано или поздно кто-то из преследователей должен был смекнуть, что беглец не провалился же сквозь землю, а где-то здесь! Савушка, даром что голова огурцом, оказался этим смекалистым, а может, просто углядел некое шевеление около забора, и вот его сиповатый голосишко перекрыл поднявшийся вокруг шум и гам:

– Вон он! К конюшне метит! Держи!

Ух ты, Данька и не знал, что конюшня, а значит, и Рыжак были так близко... Эта мысль мелькнула и исчезла, он снова заметался туда-сюда – слепо, отчаянно, а топот преследователей был уже совсем рядом. Данька с силой ударился спиной в ограду, словно надеялся каким-то чудом пробить в ней дыру, и...

И чудо произошло. Что-то хряпнуло за спиной, доска подалась, Данька суматошно завозился, пытаясь протиснуться сквозь неширокую щель, – и сердце его зашло, когда он ощутил чьи-то руки, цепко тянущие вон из двора, к свободе и спасению.

Казалось, лез он бесконечно долго, а минуло небось какое-то мгновение ока. Данька встряхнулся, дико воззрился на своего спасителя – вернее, спасительницу, ибо это была девка.

Луна серебрилась в небрежно заплетенных косах, волосы у нее небось соломенные, светлые. Большие глаза – тоже полны лунного света, и не поймешь, то ли черные они, то ли голубые. Вздохованно дышат пухлые губы, щеки так и горят. Румянец при луне кажется болезненным, коричневым. Простенький сарафанчик перехвачен под высокой грудью, ворот рубахи расстегнут, шею охватили бусы из незрелой боярки, Данькины младшие сестрички точь-в-точь такие низали себе, обвивали ими тоненькие детские шейки в несколько рядов и бежали показаться матери...

Данька вздрогнул от боли в сердце, от вернувшегося страха, дернулся было – бежать, но девушка перехватила за руку:

– Сдурел – на деревню подаваться? Перехватят! За мной давай!

Повернулась, подобрала подол – и понеслась, так проворно перебирая босыми, до колен заголившимися ногами, что Данька насилу поспевал за ней.

Сказать по правде, он с трудом разобрал ее слова: чудилось, рот у девушки кашей набит, она говорила как бы с трудом, да и голос был низким, неприятным. А ведь казалось, этакая глазастая да грудастая должна соловушкой заливаться! Ой, ну что ему с ее голоса, с ее глаз да грудей?! Не проворонить бы, куда она мчится!

Девушка свернула в проулочек меж двух заборов, вихрем выметнулась в другой порядок изб, потом метнулась вправо, огибая уличный колодец, и вдруг точно сквозь землю провалилась. Данька не сразу сообразил, что девушка спрыгнула с обрывчика и скрылась в перелеске, примыкавшем к деревне. Последовал за ней. Остро запахло зрелой, влажной зеленью. Серебристые ноги стремительно мелькали впереди, а темный сарафан сливался с тьмой, царившей среди плотно стоящих стволов. Даньке даже жутковато вдруг сделалось: а путная ли девка его ведет неведомо куда? Рассказывали, на помощь людям порою являлись лесные русалки и, якобы спасая, затаскивали их в такие дебри дремучие, что потом и концов пропавшего человека найти не могли. Залюбливали его лихие девки до смерти! Конечно, русалки предпочитают «спасать» крепких молодых мужиков, желателно красавцев. С Даньки в этом смысле вряд ли будет прок: первое дело, по младости лет, второе – красавцем его вряд ли назовешь, ну а третье...

Он не успел додумать. Девка резко обернулась, блеснула глазами:

– Все! Пришли!

И, низко нагнувшись, нырнула под нависшие ветви. Данька последовал за ней. Тут уж царилла вовсе кромешная тьма, но горячая рука вцепилась в его запястье, потянула, указывая направление, голос неразборчиво вымолвил:

– Теперь не найдут! – И она затихла рядом, переводя дыхание.

Данька тоже выталкивал из себя заполненные выдохи, жадно глотал воздух, пытаясь различить запахи. Сначала он ничего не видел, только нюхом чуял. Пахло кисло – сыростью, почему-то ржаным несвежим хлебом и, такое ощущение, прокисшей кашей. Вообще дух был неприятный, тревожный, Данька никак не мог понять, что в нем такое, но вдруг осенило: да ведь здесь пахнет кровью! Застарелый кровавый запах – вот что властвует над всем!

Данька напрягся, стараясь заставить глаза побыстрее привыкнуть к темноте. Страх, который пропал было, развеялся с ветром стремительного бегства, вернулся, снова зашарил ледяными пальцами по шее и спине.

Постепенно глаза начинали видеть. Данька понял, что стоит в каком-то балагане – вроде бы дощатом, потолок настолько низок, что и он, и девушка, которая была с Данькою примерно одного роста, только-только не касались его макушками. Почти вплотную к Даньке стояли стол и лавка, а чуть поодаль – топчан, на который причудливой кучей было навалено какое-то тряпье. Больше ничего рассмотреть он не успел: девка приблизилась и вдруг так толкнула в грудь, что Данька, вскрикнув от боли, полетел на лавку. Сильно ударился спиной, но это было еще полбеда. Гораздо хуже, что девка внезапно рухнула на него, навалилась всем весом и, уткнув в его губы влажный, тяжело дышащий рот, зашарила жадными руками по его бедрам, пытаясь развязать вздержку штанов.

Господи! Так и есть – русалка-любодеица...

В первый миг и дыхание Данькино пресеклось, и ума он лишился, и сердчишко замерло, а девкины проворные руки так и лезли ему между ног, искали там чего-то... Данька чудом вывернулся из-под горячего тела, сверзился с лавки на земляной пол, привскочил, кинулся было в сторону, но девка оказалась проворнее: цапнула за подол рубахи – так кошка ленивой лапкой ловит мышонка, из последних сил попытавшегося дать деру. Данька рванулся, споткнулся, со всего маху ударился о топчан – и обмер, когда куча тряпья вдруг зашевелилась, застонала, потом раздался некий невообразимый звук, вроде бы кто-то хрипло, задавленно рассмеялся, а потом негромкий, донельзя измученный голос произнес, странно, твердо выговаривая звуки:

– Ну, нашла наконец себе новую забаву?

Батюшки-светы! Да это никакое не тряпье, разглядел Данька, это человек лежит, распростершись, раскинув руки и ноги, накрепко привязанные к топчану!

– Терпите, сеньор, терпите! Теперь ваш черед терпеть эту дикую тва-арь... – продолжил незнакомец, но тут же его голос пресекся стоном.

Данька наклонился, пытаясь разглядеть лицо этого человека, но в это мгновение получил увесистый удар по затылку и, лишившись сознания, беспомощно сполз наземь. Он уже не чувствовал, как ему заломили за спину руки, связали их каким-то грубым жгутом, потом опутали ноги и оставили валяться, скрючившись. Он не слышал, как девка, странно, утробно похохатывая, подошла к топчану и проворно забралась на него, не слышал надсадного дыхания, мучительных стонов и яростных, исполненных ненависти выкриков:

– Чертовка! Оставь меня! Изыди, сатана! Да будь ты проклята!

Июнь – ноябрь 1727 года **Из донесений герцога де Лириа** **архиепископу Амиде. Конфиденциально**

«Ваше преосвященство, примите мои первые выводы: в Московии вовсе не нужен посланник: говорю не потому, что я не хочу тут жить, но бесполезен расход, который для этого делается королем нашим и государем. Московия нам нужна только в войне с англичанами. В этом случае москвиты не только могут доставить нам громаднейшую помощь диверсией, какую они смогут сделать в Германии и, следовательно, отвлечь с этой стороны наибольшую силу наших врагов, но они также достаточно сильны в случае нужды перенести войну внутрь самой Англии. Но во время мира союз их бесполезен; годится разве только относительно торговли, из которой мы можем извлечь большие выгоды.

Есть еще другой повод считать бесполезным иметь теперь посланника в Петербурге – это перемена правительства. Оно попало теперь в руки москвитов, между которыми есть еще много таких, которые держатся старых обычаев, и есть такие, которые решительно осуждают всякий союз с нашей монархией, потому что считают его для себя совершенно бесполезным по причине отдаленности нашей Испании, и думают, что им нужно быть в хороших отношениях только с англичанами, коих морская сила имеет громадное преимущество перед их силою. Противоположного мнения держится только князь Менишков.

Не мешало бы довести до сведения короля нашего государя, какие идеи одушевляют этого министра. Этот человек – величайший честолюбец, какого только видел мир. Нельзя сказать, что в своем счастье он ходит ошупью, он умеет вести дела: в несколько лет из ничего и из низкого состояния он сделался первым подданным Московитской монархии, князем Империи и богатейшим вассалом по всей Европе. Но этим счастьем его честолюбие не удовлетворилось. Вы, конечно, знаете, как он добивался быть избранным в герцоги Курляндии. Хотя это ему не удалось, он все-таки не отказался еще от этой мысли. Главная же цель его – выдать свою старшую дочь Марию за малолетнего русского царя, а самому сделаться королем Польши, и потому он расчищает себе дорогу на случай смерти короля Августа. По этой, собственно, причине он так предан австрийскому императору.

В России Менишков теперь управляет всеми делами. Но еще при жизни царицы были некоторые возмущения против него; нужно ждать, что в несовершеннолетие настоящего царя они увеличатся, потому что бесчисленное множество личностей не любит Менишкова, желает его падения и погибели. Все это не мешает передать королю нашему государю, решениям которого я готов повиноваться слепо и с крайним самоотвержением».

Август 1729 года

Данька очнулся оттого, что затекло и ныло все тело. Едва смог повернуться, открыть глаза, сперва не понимая, где и почему валяется, скрючившись. Как вчера лежал на могиле родителей, прожигая землю мучительными слезами, – это вспомнилось сразу. А что было потом? Голова болела, в висках перестукивало, мешало думать. Приподнялся – и дыхание пресеклось, когда обнаружил, что связан. Вот тут-то вспомнилось остальное – почему-то в обратном порядке: от удара по голове в этом дурном балагане до блужданий вокруг Лужков в поисках следа убийц.

Опасливо огляделся. Либо он провалялся без памяти сутки, либо все еще длилась та же ночь. Темно по-прежнему. А человек, который лежал на топчане, что с ним, жив ли он?

Данька кое-как сел: мешало, что руки и ноги были связаны, – и снова чуть не упал, когда прямо напротив его глаз вдруг замерцали два лихорадочно блестящих глаза. Словно дикий зверь глянул в упор из темноты! Жутко стало, он отпрянул.

– Меня бояться не стоит, сеньор, – слабо выдохнул лежавший на топчане человек. – Я такой же пленник этой суки, как и вы.

Данька мимолетно поджал губы: грубостей он не терпел, особенно по отношению к женщинам. Затем вспомнил ту, о ком шла речь, и зло подумал, что это – самое подходящее для нее название! Еще и похлеще сказать можно!

Однако как же странно выговаривает слова этот человек! Вроде бы и чисто по-русски, а... словно бы ветерок легкий пролетает меж словами. Иноземец, что ли? И это диковинное словечко – сеньор... Что оно значит? Может, незнакомец думает, что Даньку так зовут? Может, он принимает Даньку за кого-то другого?

– Как вы умудрились угодить к ней в лапы? – продолжал незнакомец. – Неужели прельстились ее прелестями?

– Да я ее небось и не разглядел толком-то, – буркнул Данька, вспоминая, как серебрились под луной растрепанные косы, мелькали ноги под высоко поднятым сарафаном. – Она мне жизнь спасла – сначала. А потом заманила сюда. Я думал, спрятать хочет...

– Я тоже когда-то так думал, – пробормотал незнакомец рассеянно, как вдруг встрепенулся: – Жизнь спасла, говорите? Похоже, это вошло в привычку у нашей безумной сластолюбивы! И как же это произошло, если не секрет? Где?

– Здесь, в деревне, где же еще, – неохотно буркнул Данька. – Я остановился на ночлег в одном доме, ночью на меня напали, ну, спрыгнул во двор, а там куча народу навалилась, я бежать, думал, уже конец мне, да тут эта девка откуда ни возьмись, завела в какие-то заросли, потом сюда, ну и вот...

Он нарочно частил, избегая подробностей, однако незнакомец, кажется, обладал умением слышать недосказанное:

– Во имя неба! Неужели и вы стали жертвой толстого, рыжеволосого туземца и его припешника, обладателя головы, которая напоминает приплюснутую дыню?!

– Огурец, – возразил Данька. – Семенной огурец, с толстой, потрескавшейся кожурой, уже перезрелый и сморщившийся.

Незнакомец некоторое время размышлял, потом слабо усмехнулся:

– Вы правы! Как огородник, вы, конечно, более опытны, сеньор... Как вы полагаете, может быть, мы забудем об условностях, согласно которым два идалго должны быть представлены друг другу неким высокочтимым патроном, и, применясь к нашим необычным обстоятельствам, представимся друг другу сами? Это не очень претит вам, сударь?

Строй речи этого человека, самый звук голоса необычайно нравились Даньке. Эх, если бы и он мог выражаться столь же изысканно и витиевато! Должно быть, перед ним человек

благородного происхождения, какой-нибудь родовитый иноземный боярин, попавший в опасную, жуткую переделку. Каковы же причины этого? Ну, каковы бы они ни были, они не ужаснее тех, из-за которых оказался в Лужках Данька...

Стоило подумать об этом, как слезы начали наплывать на глаза. Горло стеснилось, и Данька сказал хриплым голосом:

– Вы, что ли, имя мое знать хотите? Данилой меня зовут, Данилой Воронихиным, а попросту кличут Данькою.

– Простите, вы забыли упомянуть свой титул, – негромко напомнил незнакомец, но Данька упрямо мотнул головой:

– А нету у меня никакого титула. Матушка была из Долгоруких-князей, но вышла за батюшку, а он хоть и дворянского звания, но не князь и не граф, зато жили они весь свой век дай Бог каждому, в любви великой и согласии, и в жизни не разлучались ни на день, и смерть вместе встретили.

И все, и тут вся его выдержка, скрепленная пролитыми на убогом могильном холмике слезами, но давшая трещину в комнатенке под крышей и потом, во время страшного бегства, наконец-то рассыпалась на мелкие кусочки. Слезы хлынули так обильно, так внезапно, что Данька даже не сразу понял, отчего у него вдруг сделалось мокрое лицо и все расплылось в глазах. А потом пришли тяжелые рыдания, от которых, чудилось, вот-вот разорвется и сердце, и горло.

Он уронил голову на край сенника, на котором лежал незнакомец, и с мучительными усилиями выталкивал из себя хриплые, задыхающиеся звуки, снова и снова вспоминая лицо матушки и улыбку отца, и то, как они смотрели друг на друга и на детей, и теплое дыхание матери на своих волосах вспоминал, и шепоток ее, когда приходила поцеловать на ночь: «Ох, Данька, Данюшка, вот четверо вас у меня, все мне равно родные, всех поровну любить следует, а все же тебя, дитятко, пуще всех люблю, зайчик ты мой солнечный!» Почему-то сейчас подумалось, что, наверное, то же самое она нашептывала каждому из них, четверых детей, ревниво деливших меж собой любовь и заботу родительскую. Матушка никого не хотела обделить, она и впрямь любила всех их поровну, а Данька-то всю жизнь думал... И от этого запоздалого открытия, не имевшего теперь ни для него, ни для убитой матушки никакого значения, Даньке отчего-то было еще больнее, еще сильнее теснилось сердце, еще горше лились слезы.

Но постепенно слезы иссякли, на смену им пришла оцепеняющая усталость. Он уткнулся в топчан и тяжело вздыхал, пытаясь успокоиться.

Вдруг ощутил на своей щеке теплое дыхание. Незнакомец прильнул к его лбу своим. Данька вспомнил, что руки его тоже связаны, наверное, он хотел бы успокаивающе погладить плачущего юнца по голове, как всегда гладят маленьких детей, но не мог, вот и ерошил своим дыханием его волосы.

– Успокойтесь, мой юный друг, успокойтесь, – прошептал он. – Вы еще совсем дитя, а выпало вам, судя по всему, столько, что и не каждому взрослому выдержать. Циники уверяют, что человеку по-настоящему плохо не тогда, когда у него беда, а когда у его ближнего все хорошо. Если вы циничны, вас должно успокоить, что мир перенасыщен бедами и несчастьями, и один из таких несчастных находится рядом с вами. Если вы милосердны, вы найдете утешение в исцелении страданий другого человека, ибо за те несколько недель, которые минули со времени моего въезда в эту проклятую Богом деревню, я хлебнул столько мучений, что, да простит меня Господь, не раз помышлял о смерти и даже малодушно призывал ее. Поверьте, я оказался настолько слаб, что не замедлил бы сам развязаться с жизнью, когда бы у меня не были связаны руки. Простите за невольный каламбур, – он невесело усмехнулся. – Поверите ли, но, чудится, меньшую боль и страдания доставляла мне рана, чем ежедневное, еженощное надругательство, которым подвергала меня эта распутная тварь. Она вынуждала меня нарушить обеты, данные Отцу Небесному, она окунула меня в бездны таких нечистот, о каких я даже и

не подозревал. И хотя я беспрестанно разочаровывал ее стойкостью своего духа и силою своих очистительных, охранительных молитв, хотя ее тело вызывало во мне только отвращение, хотя я знаю, что и под страхом смерти не заставил бы свое естество откликнуться на ее грязные призывы, но все же... ощущение ее немытого тела, которое терлось об меня, ее рук, которые мяли мою спящую плоть, вынуждая к соитию, ее слюнявых губ... все это истерзало меня пуще пыток, которым некогда подвергали христианских мучеников язычники Юстиниана, все это вынудило меня пребывать в уверенности, будто я свершил все семь смертных грехов враз!

Голос ему изменил. Какое-то время царило молчание. Незнакомец пытался успокоиться, а Данька – переварить услышанное. Пища для ума оказалась настолько скоромной, что бедолагу аж замутило.

– Простите, сударь, – наконец-то справился с собой его собеседник. – Вы так юны, неопытны, невинны, а я, не подумав, вылил на вашу голову ушат тех же помоев, в которых принужден был купаться сам. Простите великодушно! Тем паче что все эти унижения, все страдания мои телесные, даже боль от раны, конечно, ничто в сравнении с муками душевными. Не было ночи, чтобы не являлись ко мне призраки людей, погибших по моей вине... О нет, я не душегуб какой-нибудь, руки мои если и обагрены кровью, то отнюдь не по локоть, а так, слегка забрызганы, и то, можете мне поверить, лишь *ad maiorem Dei gloriam*... я хочу сказать, для вящей славы Божией, как выражаются богословы, то есть в благих целях. Те несчастные, о которых я упомянул, были моими слугами. Нас хотели убить всех, я спасся поистине чудом. А те, кто верил мне, кто служил мне беззаветно и преданно, погибли, и, получилось, я стал виновником их гибели. Но все же они знали, сколь рискованна и опасна наша стезя, они всегда готовы были отдать свои жизни ради... ради нашего дела. А те двое несчастных, муж и жена, которых безжалостно прирезали у меня на глазах только потому, что надеялись поживиться их добром? Нас и их убивали, чтобы ограбить, гнусно обобрать мертвые тела... Что с вами? – насторожился незнакомец, ощутив, что Данька вдруг вздрогнул всем телом, а потом замер, чудилось, и дышать перестал. – Что с вами, молодой сеньор? – Он умолк, а потом проговорил растерянно, пугаясь своей догадки: – Может ли статься... Господи, я только сейчас осознал, только сейчас свел воедино... да нет, нет... или?.. Неужели те супруги были вашими родителями?!

Незнакомец смотрел на Даньку испуганно, ожидая нового взрыва горя, нового всплеска рыданий, однако тот сидел понуро, слишком обессиленный страшными открытиями.

– Да, – выдавил он наконец. – Наверное, это были они. У матушки глаза голубые...

– Бирюзовые, – вздохнул незнакомец. – Редкостной голубизны. А у ее супруга был шрам на щеке.

– Был, – кивнул Данька. – Почти двадцать лет тому назад получил он сию рану в деле под Батурином⁶, бок о бок со светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым сражаясь против предательского гетмана Мазепы...

И умолк, чтобы снова не разрыдаться.

– Да, – хрипло проронил незнакомец. – Нам есть за что мстить, причем мстить сообща. Вот вам моя рука... о, раны Христовы, я ведь связан, да и вы тоже! Однако я так и не назвался, сеньор Даниил. Имя мое дон Хорхе Сан-Педро Монтойя.

– Так и есть, иноземец! – не удержался Данька от изумленного восклицания. – Однако батюшка сказывал, будто все иноземцы говорят на каких-то тарабарских наречиях. Где же вы так ловко по-нашему говорить наострились?

– Это очень диковинная история, мой юный друг, – отвечивал дон Хорхе. – Я бы сказал, неправдоподобная... Возможно, если Бог и его Пресвятая Матерь будут к нам милосердны и попустят нас остаться в живых, я поведаю вам ее. Но история сия очень длинная, а сейчас сле-

⁶ В XVII—XVIII вв. резиденция украинских гетманов.

дует подумать о другом. Ежели мы желаем свершить отмщение, надобно как минимум иметь свободные руки! Попытаемся развязать наши путы и бежать отсюда прочь. Вы согласны?

– Согласен-то я согласен, – пробормотал Данька. – Тут и спору никакого быть не может. Однако как же быть, коли и у вас, и у меня руки связаны?

– Ну, рты у нас, благодарение Богу, не заткнуты, – хмыкнул дон Хорхе. – Давайте-ка, молодой сеньор, повернитесь ко мне спиной и подставьте ваши руки к моим зубам. Заранее прошу прощения, если нечаянно укушу.

– Кусайте на здоровье, – сказал Данька, дивясь, что же сам не додумался до такого простого способа избавления от пут. – Главное дело, чтоб зубы об эту костру⁷ не сломать!

– Ничего, – буркнул дон Хорхе, отплеываясь, ибо уже приступил к делу, – зубы у меня, благодарение Богу, крепкие!

Данька еще прежде обратил внимание, что его невольный сотоварищ по несчастью то и дело, надо или не надо, произносит имя Божие. Сказано в Писании: «Не поминай Господа всуе!», тому же и матушка Данькина всегда учила своих детей, а отец присовокуплял, что лишь монашеской братии пристало то и дело божиться, ибо они и есть слуги Божии. Неужели этот иноземец – монах? В таком разе понятно, что он имел в виду, говоря о своих обетах. Ежели у белого духовенства есть дозволение на брак, то черное дозволения такого не имеет. А в иноземщине, сказывают, и вовсе никому из монашеского сословия не дозволяется ни жениться, ни любодействовать с бабами. А ведь эта, как ее, девка-спасительница хотела что от него, что от Даньки именно любодейства, это было понятно даже Даньке при всей его молодости. Хоть от него ни в жизнь не было ни с кем ничего такого, даже поцелуев, однако же земля слухом полнится, и кое-что об отношениях мужчин и женщин Данька успел узнать. Говорят, умелая и горячая бабенка может соблазнить любого мужика, будь он хоть трижды монах. Знать, эта девка была либо негорячая, либо неумелая. Да и вообще, кто на такую немытую польститься может? Данька вспомнил застарелый запах ее пота – и брезгливо передернулся. А как мерзко шарили ее руки по его телу...

– Не трепыхайтесь, умоляю вас, сеньор, – проворчал за его спиной дон Хорхе. – Победа уже близка... О нет, нет!..

В голосе его зазвучал такой ужас, что Данька резко обернулся. Дверца в балаган была распахнута, и в первых рассветных лучах, уже окрасивших небо, отчетливо вырисовывалась женская фигура. Она стояла, уперши руки в боки, и заглядывала в балаган.

⁷ Остатки стеблей льна, конопли после трепания и чесания. *Здесь*: путы.

Ноябрь 1727 года Из донесений герцога де Лириа архиепископу Амиде. Конфиденциально

«В Московии ничего не может быть интереснее новости о падении Меншикова, потому что этот князь был единственный человек, который поддерживал правила покойных царя и царицы. С его падением, нужно опасаться, москвиты захотят поставить свое правительство на старую ногу, увезут царя в Москву. Да, нужно опасаться, чтобы деньги Англии не заставили царя навсегда поселиться в прежней столице. Тогда бы я не дал и четырех плевков за наш с Московией союз, и пускай себе тогда царь возится с персами и татарами: ведь государствам Европы тогда он не сможет *сделать ни добра, ни зла. Флот и торговля без присмотра погибнут, старые москвиты, считая за правило держаться как можно дальше от иностранцев, поселятся в Москве, и вследствие этого Московская монархия возвратится к своему прежнему варварству.*

Несчастье Меншикова приписывают прежде всего интригам князей Куракина, Голицына и Долгоруких, открытых врагов Меншикова, которого власть достигла до такой высоты, что можно было опасаться всего от его честолюбия. Но прибавлю еще одно обстоятельство, которое, несомненно, содействовало падению временщика: это деньги Англии. Единственное средство отдалить Московию от Венского союза – это было погубить Меншикова, самого усердного союзника австрийского императора, и я не сомневаюсь, что для этого англичане употребили всевозможные усилия. Здесь говорят, находятся причины отрубить Меншикову десять голов, если бы он их имел! Мне было бы любопытно установить, кто именно являлся осуществителем подземных ков англичан относительно свержения светлейшего князя, но пока затрудняюсь определить это лицо. Долгорукие ненавидят иностранцев, кроме того, среди них есть несколько человек, принявших истинную католическую веру, они не станут якшаться с протестантами. Принцесса Елизавета, младшая дочь Петра Первого, настолько глупа и развратна, что от нее трудно ждать каких-то серьезных политических интриг. Вице-канцлер Остерман... в личности этого человека я еще не успел разобраться, хотя, говорят, он был истинным врагом Меншикова.

Впрочем, сейчас меня заботит другое: успею ли я до наступления нового года удостоиться аудиенции у русского царя и как сложатся наши отношения?

В ожидании этого я свел знакомство с рекомендованным вами человеком – князем Василием Долгоруким. Их, впрочем, два – оба с теми же именами и фамилиями, различаются они лишь тем, что русские называют «отчеством». Я веду речь не о фельдмаршале Василии Васильевиче, а о Василии Лукиче.

Он только недавно вернулся из Парижа, где обрел людей, близких по духу: докторов богословия из Сорбонны, отцов-иезуитов. В частности, он сдружился с аббатом Жюбе. Сейчас аббат в Амстердаме – с княгиней Ириной Долгорукой, урожденной Голицыной, и ее детьми, в воспитатели которых определен. Ирина недавно приняла католическую веру, намеревалась перекрестить и детей своих. Уговаривает она сделать это и князя Василия, но тот пока не решается. Впрочем, не сомневаюсь, что рано или поздно это произойдет. Симпатии князя всецело с нами, хотя в России многие благосклонно внимают вестям о некоем новом ордене, который зародился в Англии, но расползлся по протестантским странам с проворством тараканихи, которая мечется туда-сюда, кругом рассыпая потомство. Этот новый орден с поразительным упорством строит здание своего благополучия...

*Вы понимаете, что я веду речь о наших врагах масонах, так называемых вольных каменщиках!*⁸ Я не склонен недооценивать их опасность. Сила этого ордена в том, что он не вполне протестантский. Не католический, не протестантский, не православный. И в то же время войти в него может человек любой веры – кроме иудеев, понятное дело. Однако выкрестов не гонят. Масоны стоят над узкими религиозными рамками, они вещают о братстве всех людей, пришедших в их храм. По словам князя Долгорукого, его друг аббат Жюбе, как и все мы, иезуиты, очень опасается разрушающего влияния масонов на человеческое сознание. Он настоятельно просил Долгорукого внимательно присматриваться ко всем вновь прибывающим в столицу, ко всем представляемым ко двору иностранцам, чтобы вовремя разъяснить личность, засланную в Россию масонами. Что такие люди появятся здесь в самом скором времени, я тоже не сомневаюсь».

⁸ *Mason* – строитель (англ.).

Август 1729 года

– Чего задумали? – косноязычно выговорила «русалка», словно не веря своим глазам. – Бежа-ать? От меня небось не убежите!

И, запрокинув голову, она разразилась таким злобным, таким страшным смехом, поистине нечеловеческим, более напоминающим уханье филина, что Данька понял, похолодев: да ведь девка безумна! Ну, можно было раньше догадаться, что ее пугающее распутство объяснимо только убожеством ума.

Мысли промелькнули в одно мгновение, потом думать стало как-то некогда. Несмотря на убожество, девка оказалась крайне приметлива и сообразительна. Она мигом постигла намерения пленников и ринулась на них с такой яростью, что Данька даже зажмурился, не в силах ничего поделать, потому что руки его все еще оставались связаны.

Девка схватила его за грудки, оторвала от пола и принялась трясти так, что Данькина голова моталась, будто у тряпичной куклы, а зубы начали выбивать дробь. Он еще успел испугаться, как бы язык не откусить, а потом девка с силой швырнула его на топчан. Дон Хорхе, придавленный Данькой, издал короткий мучительный стон и умолк, Данька рванулся было, но девка снова вцепилась в него и принялась трясти, выкрикивая что-то бессвязное, неразборчивое, и в этой непонятности ее коротких воплей заключалось самое страшное, она, чудилось, творила какие-то ведьмовские заклинания, а от несвежего духа, исходящего из ее рта, Даньку начало мутить, голова закружилась, сознание снова начало ускользать...

И вдруг девкины руки разжались – правда что вдруг, Данька даже на ногах не устоял. Плюхнулся на пол, заелозил, пытаясь отползти подальше от мучительницы, а она словно и не замечала его жалких попыток к бегству! Она качалась, гнулась, силилась что-то оторвать от себя – что-то, запрыгнувшее на ее спину, рычащее, грызущее ее плечи...

Остроухая голова вырисовалась в рассветных лучах, и Данька, не веря глазам своим, прохрипел:

– Волчок! Родимый... неужто ты?! – И закричал яростно, безумно, мстительно, почти не владея собой: – Ату ее! Куси, Волчок, куси!

Понукать пса особенно не требовалось. Почуввав, что Данька в опасности, он бросился искать – и вот увидел его в руках какого-то чудища, более напоминающего росомаху, чем человека. Росомах Волчок ненавидел лютой ненавистью, поэтому он готов был перервать шею омерзительному существу.

Однако боль придавала девке необыкновенную силу. Она откачнулась к стене и с силой ударилась об нее спиной, так что балаган ходуном заходил. Волчок соскочил с нее, забежал спереди и начал кидаться, хрипя и заходясь лаем. Девка била ногами куда попало, иногда попадая и по собаке. Дважды ей удалось отшвырнуть от себя Волчка, дважды он, подпрыгнув, крепко цапнул ее за ляжки. Наконец она как-то изловчилась проскользнуть мимо пса и ринулась прочь от балагана, то вскрикивая, то завывая, будто раненое животное. Волчок, рыча, ринулся следом.

Данька сел, переводя дыхание. Отер пот со лба, кое-как пригладил волосы дрожащими руками – и только тут осознал, что они больше не связаны. Должно быть, Хорхе успел основательно подгрызть веревку, вот она и лопнула, покуда девка волтузила и швыряла туда-сюда своего беспомощного пленника.

Слава Богу! Данька мигом распутал ноги и кинулся к топчану:

– Хорхе! Ты жив? Очнись!

В блеклом рассветном полусвете стало видно заросшее щетиной изможденное остроносое лицо. Веки медленно поднялись, открылись черные глаза. Данька даже попятился от этого взгляда, такая лютая в нем проблеснула ненависть. Ну будто кипучей смолой плеснули в лицо!

– Пошла вон, уברי руки! – прохрипел Хорхе, и тут же сознание его прояснилось, прояснилось и лицо: – Великий Иисус! Это вы, сеньор Дени? А где та проклятая дьяволица?

– Ее прогнал мой пес, – невнятно выговорил Данька, руками и зубами трудясь над узлами, стянувшими руки и ноги Хорхе.

От запаха давно не мытого тела, заскорузлой крови (Данька уже заметил, что грудь и правое плечо его союзника жестоко располосованы и кое-как перетянуты тряпками) его снова начало мутить, но перед взором почему-то все светились какие-то черные солнца, и Данька с некоторым усилием сообразил, что это глаза загадочного чужеземца перед ним сияют. Это же надо! Только что лилась из них лютая ненависть, но через миг осветились они такой ласкою, что Даньку аж дрожь пробрала. Никто, ни матушка, ни отец, ни брат старший, ни сестрички не смотрели на него с такой любовью.

«Вот от таких глаз бабы небось мрут, как мухи! – подумал он с непонятной злостью. – Опасные у него для бабьих душ глаза! Ох, опасные!.. С того небось и присосалась к нему эта «русалка», что пиявица ненасытная. И не она первая, не она последняя, конечно! А он-то – монах! Не мужик...»

В это мгновение Даньке удалось одолеть последний узел, и дурные, ненужные мысли из головы выветрились. Вот теперь уж точно можно бежать. Даже нужно! И поскорей!

Он думал, что Хорхе вскочит с топчана, радуясь освобождению, однако тот слабо шевелил руками и ногами, словно, пока лежал привязанный, успел позабыть, как ими владеть.

– Вставай же! – прикрикнул Данька. – Не належался еще? Того гляди, эта ведьма от Волчка отвяжется. С нее небось станется! Вставай! Пошли!

Хорхе сделал отчаянное движение – и кое-как сверзился с топчана. Замер на полусогнутых ногах, шипя сквозь стиснутые зубы от боли.

«Ох, что ж я так? – с острым чувством раскаяния подумал Данька. – Он же раненый, еле живой!»

– Держись за меня, – пробормотал, закидывая себе на спину дрожащую руку Хорхе. – Ничего, как-нибудь. Лишь бы поскорее, поскорее!

Хорхе старался как мог, но толку от его стараний было чуть. Данька почти тащил его на спине, и, Господи Боже ж ты мой, до чего тяжелым оказался этот худошавый мужчина! Да и ростом он был не больно-то и высокий, разве что чуть повыше Даньки, который, впрочем, здорово вытянулся за последний год, даже старшего брата Илью обогнал. А все равно было тяжело, Данька света белого не взвидел, пока наконец не выволок Хорхе из балагана и не побрел с ним куда глаза глядят.

Оба качались, будто ночь провели в кабаке, старательно истребляя весь запас винища. Данька покосился на запавшие щеки и бледное под слоем грязи и щетины лицо своего спутника и подумал, что слабость Хорхе проистекает, конечно, не только от раны. Неведомо, что он ел все это время. Небось «русалка» голодом его морила!

Ладно, коли он до сей поры не умер с голоду, надо быть, и еще продержится. Успеет поесть, когда угрозы погони не будет. Вдруг эта сучка поднимет тревогу на деревне? Сперва спасла, а теперь захочет отомстить неблагодарным спасенным – и выдаст их убийцам. Не хватало им еще явления Никодима Сажина и его мерзкого приспешника!

– Куда... куда мы идем? – выдохнул Хорхе, и Данька едва расслышал его слабый голос. От жалости снова сердце дрогнуло, и он приостановился, давая передышку измученному спутнику:

– Сам не знаю. Конек мой остался там, в конюшне, у тех душегубов. Теперь его нипочем не выцарапать. Пешком-то недалеко уйдем... Однако тут речка невдалеке, я видел, пока шастал вокруг села. А на песке лодки видал. Рыбачьи лодки-то. Понимаешь, о чем речь? Возьмем одну – и даже грести не надобно будет, течение само нас до Москвы донесет.

– Ты тоже идешь в Москву? – прошелестел Хорхе.

– А куда же? Одна заступа у народа православного, одна надежда – царь-государь. Вот и я дойду до него, стану правды просить, а для убийц – самой лютой кары. Нынче, слышал я, в Москве царь. Значит, и мне в Москву надо.

– Ты что, накоротке с его царским величеством? – простонал Хорхе.

– Как это?

– Ну, запросто просить подмоги решил, будто он твой должник!

Почудилось или в голосе Хорхе звякнула смешинка? Ах ты, леший, он и впрямь насмеяется! Ну, коли у тебя есть силы смеяться, так небось хватит сил и ноги самостоятельно передвигать!

Данька в сердцах вывернулся из-под тяжело навалившегося на него раненого, но это вышло себе дороже: Хорхе не удержался на ногах и упал, так что пришлось помогать ему подняться и чуть ли не заново учить делать слабые шажки. Пока раненый кое-как разошелся, Данька уже чувствовал себя не сильнее приشلепнутого комара.

«Дойдем ли до реки, пока не хватились? – мучила мысль. – Надо бы скорей ногами шевелить, да где там!»

Но вот впереди, под бережком, заблестело холодным серо-розовым шелком. Ох, красота, чудо из чудес – река на рассвете, особенно когда ни ветерка, когда заросли береговые спокойно отражаются в неколебимой зеркальной глади, не искаженной ни морщинкой, ни рябинкой. Немыслимо смотреть на эту сладостную дремоту! Проплывет медленно-медленно розовое облако, и не сразу сообразишь, то ли видишь отражение небесного странника, то ли зришь некое подводное движение.

И вдруг вспенилась гладь, сомутилось все, благостная тишь рассветная нарушилась лаем пса, бегущего кромкою берега, расшвыривая брызги.

– Волчок! – радостно закричал Данька, у которого все это время сжималось сердце от неизвестности судьбы Волчка, от страха за него. Этот пес – все, что у него теперь осталось. Ведь он Волчка помнит еще крошечным щеночком. Охотничья любимая сучка отцовская, Найда, принесла его от лесного волка. Заблудилась однажды в болотине, вернулась аж спустя месяц, отец ее и не чаял больше увидеть. Нет, вернулась, а вскоре смотрят – сучка-то брюхатая. Трех щенят принесла, двое родились мертвыми. А Волчок был очень даже живой. Однако и ему грозила смерть неминуемая: Найда померла, бедолага, давая ему жизнь. И если бы не Данька... Волчка пришлось выкармливать козьем молочком, выпаивать, нянчить, словно малое несмышленное дитяtko. Зато взамен Данька получил такого друга, такого преданного друга и защитника... Разве только отца Волчок любил больше. Нет, не любил, не то слово, любил-то он как раз Даньку. А отца почитал по врожденному звериному умению безошибочно распознавать вожака стаи и безоговорочно ему подчиняться.

Пес прыгал вокруг, рискуя свалить двух ослабевших людей.

– Волчок, Волчара! – растроганно бормотал Данька, не уворачиваясь от его упоенного лизанья. Хорхе тоже перепало собачьих ласк, и он тоже не отворачивался. – Куда ж ты чертову девку девал? Загрыз? Неужто загрыз?

Волчок не отвечал, только лаял да снова начинал лизаться.

«Хорошо бы и впрямь загрыз», – с надеждой подумал Данька.

– Вижу лодку! – прохрипел над ухом Хорхе. – Вон там!

Данька тоже увидел челночок. Ох, грех, конечно, небось обездолят они кого-то кражею! Но ведь им надо жизнь спасать... А все равно грех!

Данька не без совестливости покосился на Хорхе – все ж монах, у них с этим делом, с грехами-то, суд короткий. Но черноокий иноземец смотрел на лодку с истинным вожделием. «А что ж, не зря говорят: не согресишь – не покаешься! Деваться-то некуда! Небось он сейчас все свои монашья привычки в карман запрятал. Ну и ладно».

Данька помог Хорхе присесть на бережок и пошел сталкивать лодку в воду. Обернулся, услышав лай Волчка, с заолодевшей спиной: а вдруг откуда ни возьмись «русалка» объявилась?!

Но никакой русалки там не было, только водяной. Водяного самозабвенно изображал Хорхе, который заполз в реку, ожесточенно плескал на себя водой, тер заскорузлое тело, ерошил мокрые волосы... Волчок, конечно, не выдержал, принял это за игру, кинулся взбивать тучу брызг...

Словом, к тому времени, когда Данька столкнул лодку в воду и отыскал припрятанные в ближних зарослях весла (счастье, что этот рыбачок жил по закону: «Авось добра не тронут, небось не украдут!»), оба были мокрехоньки – хоть выкручивай да сушить вешай либо на песочке раскладывай, – что пес, что иноземец. Хорхе теперь меньше напоминал оживший труп, и Данька, помогая ему забраться в лодку, усаживая на корме Волчка, садясь за весла и, наконец, выправляясь по течению, непрестанно ощущал на себе взгляд его усталых, но благодарных, ласковых, сияющих глаз. И думал, думал, как прежде:

«Не глаза, а погибель. Девичья погибель!»

Апрель 1728 года

– Сторонись! Зашибу! Сторонись, сволочи!

Этот высокий, ошалелый мальчишеский визг вздымался над полем и заглушал все звуки, сопровождавшие охоту: крики егерей, горячивших коней и подгонявших собак, которые, впрочем, и без понуканий угнали далеко вперед; лай осатаневших от близкой добычи борзых; тяжелое дыхание усталых от сегодняшних беспрестанных гонок коней; возбужденные вопли охотников, видевших близость добычи и всячески старавшихся опередить на подступах к ней другого... Бедная лисица была одна на всех – на свору собак, свору коней, свору людей, – но, чудилось, отчаянней, горячее всех желал настичуть ее юнец в черном полукафтанчике нараспашку, из-под которого был виден темно-зеленый шелковый камзол с широким поясом. Полукафтан надувался над его спиной, словно парус; шапка давно слетела, короткие черные волосы стояли дыбом, взвихренные ветром; глаза, полные слез, вышибленных тем же ветром, чудилось, остекленели от напряжения, зубы стиснулись, и меж них рвался этот не то визг, не то вой:

– Сторонись! Прочь, сволочи! Зашибу!

Его хлесткой плетки, впрочем, ни у кого не было охоты испытать на своих плечах. Это не просто мальчишка двенадцати лет, а не кто иной, как родной внук ломателя, ниспровергателя и сокрушителя Петра Великого, сын злосчастного царевича Алексея Петровича, кончившего жизнь свою в застенке. Стало быть, государь император, самодержец всероссийский, царь Петр Второй Алексеевич.

Только двое осмеливались скакать почти бок о бок с государем: рыжеволосая, с шальным взором всадница в травянисто-зеленой суконной, по настоящей аглицкой моде пошитой амазонке и щеголеватый молодец с надменным выражением безупречно красивого голубоглазого лица.

Всадницей была не кто иная, как Елизавета, родная дочь Петра Первого, – Елисавет, как ее предпочитали называть близкие люди. Все в окружении царя знали, что мальчик совершенно без ума от своей озорной, насмешливой восемнадцатилетней тетушки, она его первая любовь и первая страсть, ради нее он на все готов и беспрестанно домогается от нее шаловливых поцелуечиков и позволения пожать нежную пухленькую ручку, а Елисавет то поглядит ласково, то не поглядит, держит государя императора на коротком поводу, словно песика, но повод тот шелковый, так что сорваться у песика нет ни охоты, ни возможности.

Рядом с великой княжной скакал любимец государев, а по-иностранному выражаясь, фаворит, Иван Алексеевич Долгорукий, князь молодой, повеса, щеголь, гуляка и распутник, каких свет белый не видывал, но, несмотря на это, а может, именно благодаря этому, сумевший занять прочное место в сердце того одинокого, всеми позабытого мальчишки, каким был некогда император Петр Второй Алексеевич. Ведь рано осиротевший мальчишка находился в таком пренебрежении у дедушки-государя Петра Великого, что для него не нашлось лучших воспитателей, чем вдова какого-то портного и вдова какого-то трактирщика, о коих знающие люди отзывались как о «женщинах неважной кондиции». Танцмейстер Норман учил царевича чтению, письму, а также поведал кое-какие первоначальные сведения о морском деле – ибо сам служил прежде во флоте. Мелькали на сем почетном месте некто Маврин, бывший при дворе пажом, затем камер-юнкером, а еще венгерец Зейкин. С миру по нитке – голому рубашка, с бору по сосенке – царевичу учителя! И только уж потом, позже, после смерти Петра Первого, к его внуку был назначен воспитателем обрусевший немец Андрей Иванович Остерман.

Остерман теперь сделался гофмейстером⁹, вице-канцлером и незаменимым во всем государстве человеком: во всяком случае, таковым его называли все как один иностранные посланники, пресерьезно уверяя всех, у кого находилась охота читать их донесения, что без сего сухощавого, носатого человека вся Российская империя всенепременно и давно развалилась бы. С другой стороны, очень может быть, что они были в чем-то и правы, потому что даже сейчас Остерман сидел сиднем в Кремле и занимался государственными делами – к которым, как ни бился, как ни старался, не в силах был приохотить властителя огромной страны России. А весь двор, все министры, члены Верховного совета, высшие армейские чины, а также очастливленные царским расположением иностранцы, как ополоумевшие, гонялись за какой-то несчастной лисицей, бросив все дела и заботы, присоединившись к царскому охотничьему поезду.

Со стороны вид его был внушительен: более полутысячи повозок, экипажей, карет! Каждый вельможа имел при себе собственную кухню и прислугу, вдобавок ехали купцы, зашибавшие нехилую копейку на торговле съестными припасами и напитками, заламывая за все это несусветные цены. Переезжали из одной волости в другую, останавливались где понравится, ставили шатры, словно какие-нибудь восточные царьки-кочевники, раскидывали скатерти брачные, уставляли их яствами и напитками. В самом деле, это было какое-то сказочное, почти азиатское кочевание, во время которого забыли все на свете, кроме государева удовольствия...

Но вернемся к молодому Долгорукому. Когда будущий император Петр Второй Алексеевич был всего лишь десятилетним приживалом при дворе своего взбалмошного деда, князя Ивана назначили при нем гоф-юнкером¹⁰. Было ему семнадцать лет, но, несмотря на редкостную красоту и бесшабашность, а может быть, именно благодаря им, Долгорукий был существом привязчивым и вполне способным на искреннюю дружбу. То ли жалко стало ему великого князя, то ли самозабвенная, поистине братская привязанность мальчика тронула его сердце, только рассказывают следующее. Будто бы как-то раз не выдержал князь Иван и, упав на колени перед царевичем, высказал, что всем сердцем предан потомку Петра Великого, почитает именно его, а не кого другого законным наследником российского престола, только ему, ему одному готов служить, жизни не пожалеет ради него...

Услышать о столь безоглядной преданности всякому человеку во всякое время приятно, но одно дело, когда слагают преданность сию к подножию прочно стоящего трона, и совсем другое – когда высказывают ее затурканному мальчишке. Ведь в то время законной и бесспорной наследницей Петра Великого была императрица Екатерина Алексеевна, ну а за ней право претендовать на престол имели ее дочери, Анна и Елизавета. О наследственных правах сына Алексея Петровича никто и не помышлял тогда. Более того! Великий князюшка принужден был каждое утро отправляться с поклоном к светлейшему князю Меншикову, приговаривая при этом: «Я должен идти к Александру Данилычу, чтобы отдать ему мой поклон, ведь и мне нужно выбиться в люди. Его сын уже лейтенант, а я пока еще ничто; Бог даст, и я когда-нибудь доберусь до чина прапорщика!»

Став государем, Петр не забыл первого своего друга. Молодой Долгорукий, признанный фаворит, обер-камергер¹¹, майор гвардии Преображенского полка¹², кавалер орденов Александра Невского и Андрея Первозванного, жизнь вел рассеянную и превеселую, ну а женщины падали к ногам его, словно переспелые яблоки, несмотря на то, что вел Иван Алексеевич себя с прекрасным полом совершенно беззастенчиво. Похождения фаворита нимало не смущали царя, который, несмотря на юность, мог уже во многом дать фору своему повесе-наставнику.

⁹ Высший чин придворного сановника.

¹⁰ Один из низших придворных чинов.

¹¹ Первый придворный чин.

¹² В те времена это равнялось генеральскому чину.

Что государь, что его обер-камергер исповедовали закон: «Быль молодцу не укор!», подчас делясь не только фривольными воспоминаниями о своих любовницах, но и самими этими любовницами.

Казалось, согласие их нерушимо... особенно сейчас, в самозабвенном пылу охотничьем. Однако черноволосый, черноглазый, юношески-изящный человек с лицом того болезненного, оливково-бледного цвета, который приобретают смуглые лица южан в причудливом климате России, чудилось, видел некие незримые нити, опутывавшие трех всадников: императора, его молоденькую тетку и красавца обер-камергера.

Этот человек скакал недалеко от них, с явным усилием сдерживая великолепного, поджарого вороного коня, которому было пустым делом обставить на скаку коренастых, мохноногих русских лошадушек. Андалузский скакун, привезенный в Россию с величайшим трудом, являлся предметом непрестанной гордости и даже спеси для своего хозяина – Иакова де Лириа, испанского посланника в России.

Привычно правя конем, де Лириа умудрялся ловить каждый взгляд, которым обменивались за спиной государя его фаворит и Елизавета, и размышлял, в самом ли деле юный император так увлечен охотой, как старается это выказать. Неужели минула бесследно, неужто угасла та вспышка, которую заметил герцог несколько дней назад, на балу, устроенном в Грановитой палате и посвященном рождению в Голштинии принца Петра-Ульриха¹³, сына сестры Елизаветы, Анны Петровны?

Тот бал император открыл в паре с теткою, что было против правил. По-хорошему, рядом с ним следовало идти царевой сестре Наталье Алексеевне, однако великая княжна сказалась нынче больной и на бале не появилась. Конечно, она была слаба здоровьем, но то, что в данном случае болезнь – всего лишь отговорка, сразу стало ясно всем: ведь не далее как вчера великая княжна Наталья вовсе веселилась на приеме у герцогини Курляндской. Просто она недолюбливала Ihre Tante Elizabeth¹⁴ за власть, которую сия Tante приобрела над императором, – вот и пренебрегла своими обязанностями.

Ну что же, на пользу государю ее маневр не пошел, ибо он начал с того, что сряду протанцевал с Елизаветой первые три контрданса. Длинноногий, длиннорукий, нескладный, слишком высокий и полный для своего возраста мальчик-царь взирал на свою очаровательную тетку с таким выражением обычно пасмурных, напряженных глаз, что самый воздух меж ними, чудилось, раскалился от невысказанной юношеской страсти. Но потом царь ушел ужинать в другую комнату. Ни Елизавета, ни фаворит не последовали за ним. Снова заиграла музыка! Теперь великая княжна танцевала с Иваном Долгоруким, и только слепой не заметил бы, как волновалась ее грудь, как туманились изумительные синие глаза, какую неприкрытую чувственность излучала ее роскошная фигура. Молодой Долгорукий тоже выглядел так, словно готов тут же, в присутствии множества гостей и самого императора, опрокинуть свою визави на бальный паркет и наведаться в садик ее сладострастия, как выражаются галантные французы.

Обоюдное влечение этой парочки было настолько очевидно, что не осталось не замеченным государем, который ревновал тетушку к каждому столбу, а не только к каждому мужчине. Петр незаметно вышел из покоев, в которых ужинал, и стал в дверях. Лицо его, в котором полудетская неопределенность черт уже боролась со взрослой жесткостью, было таким угрюмым, что разумные гости только головами качали, косясь на неосторожных танцоров. Неожиданно царь повернулся на каблуках и вышел вон из залы, после чего веселье сразу пошло на убыль. Долгорукий и Елизавета выглядели несколько обескураженными, однако вскоре наступило примирение, бал продолжился с прежней живостью. Великая княжна и Иван Алексеевич вместе больше не танцевали, держались безупречно... однако ненадолго же хватило их

¹³ Будущий император Петр III Федорович.

¹⁴ Свою тетушку Елизавету (нем.).

безупречности! Что, как не страсть, сияет сейчас в их взорах, то и дело скреживающихся за спиной увлеченного охотой царя?

По тонким, но красиво очерченным, ярким губам де Лириа скользнула усмешка, однако тут же осторожненько спряталась в изящные усики. Ночью после достопамятного бала, невзирая на усталость, он продиктовал своему секретарю Хуану Каскосу донесение об этом забавном любовном треугольнике, ибо в обязанности герцога входило излагать на бумаге не только свои размышления по поводу могущего быть торгового союза Испании и России, но и докладывать королю Филиппу о самомалейших мелочах жизни русского государя, этого загадочного мальчишки, вдруг сделавшегося властелином огромной, непостижимой, страшной страны.

«Красота принцессы Елизаветы физическая – это чудо, грация ее неопишима, но она лжива, безнравственна и крайне честолюбива. Еще при жизни своей матери она хотела быть преемницей престола предпочтительно пред настоящим царем; но как Божественная правда не восхотела этого, то она задумала взойти на престол, вышедши замуж за своего племянника. Да, нравственный характер Елизаветы Петровны рисуется мне самыми черными красками. Однако и честолюбие фаворита достигло самой высшей и неразумной степени. Нужно опасаться, что он влюбится в эту принцессу; а если это случится, нельзя сомневаться в гибели этого фаворита. И я со своей стороны уверен, что Остерман разжигает эту любовь: я знаю, он ничем бы не был так доволен, как если бы они, удалившись от царя, отдались одна другому. Таким путем погибли бы он и она».

Сегодня или завтра, воротясь с охоты, будет что прибавить к этому посланию. Жаль только, что все сведения собираются де Лириа с чужих слов, в пересказе других посланников или Остермана! Ведь он не знает языка, а даже по-французски и по-немецки при дворе говорят не более десятка людей, про разумеющих испанский и думать нечего. Как нужен переводчик, да не простой, а такой, которому можно доверять! Он стал бы ушами и глазами де Лириа на всех этих балах и приемах, где можно услышать так много интересного и где посол частенько чувствует себя глухим из-за того, что не понимает ни слова! Как ни старался, он не смог найти в России никого подобного, а язык московитов настолько варварский по строю и словарному составу, что остается непостижим де Лириа. Каскос тоже не в силах овладеть русским. Но просьбы прислать такого человека из Мадрида уходят в никуда, словно вода в песок. Точно так же, как и просьбы, и намеки, и жалобные требования скорейшей присылки жалованья и ему, и Каскосу, и всем прочим посольским служащим.

Представительство при русском дворе требует особенных трат, потому что здешняя знать спесива, как никакая другая в мире. Если бы кто-то мог себе вообразить, как роскошно одеваются здешние вельможи! Разве мыслимо отставать от них представителю короля Филиппа?! Убожество посланника не может не бросать тень на его властелина. Но денег все не шлют, хотя обещание отправить курьера-переводчика было дано еще зимой. Обещания, увы, легко сыплются из уст власть имущих, но испаряются неведомо куда, словно роса под палящим солнцем...

– Прочь, сволочь! Забью-у-у! – Резкий визг хлестнул де Лириа так внезапно, что он невольно осадил коня.

И вовремя! Ведь этой самой «сволочью», которая так необдуманно вырвалась вперед, опередив императора, был не кто иной, как сам испанский посланник, слишком увлекшийся своими печальями.

Клянусь кровью Христовой, да мыслимо ль так забыться?! Де Лириа железной хваткой вцепился в поводья, удерживая коня, рвавшегося вперед, и не отпускал их до тех пор, пока не оказался чуть ли не в последних рядах охотников – среди самых медлительных.

– *Festina lente!*¹⁵ – донесся до него ехидный голос, и мимо де Лириа неуклюже прогарцевал посланник австрийского двора Вратислав.

Мало того, что это был самый тупой и вреднейший в мире человечиска. В довершение всего только вчера к нему прибыл из Вены нарочный, доставивший Вратиславу крупную сумму, без малого десятков тысяч песо, если считать в переводе на испанские деньги, а главное – новые костюмы, один из которых Вратислав не утерпел-таки – напялил на себя сегодня. Увидав, какие роскошные манжеты из валансьенских кружев топорщатся от запястий до самых локтей австрийца, де Лириа почувствовал, что его и без того испорченное настроение вполне уподобилось протухшей рыбе, которой место только на помойке. И даже интриги, опутавшие трех вельможных всадников, во весь опор скакавших впереди остальных, уже не казались ему столь важными, чтобы снова не спать ночь, готовя донесение в Мадрид, тратить английскую бумагу, французские чернила и заставлять милого друга Хуана Каскоса ранить пальцы, затачивая неподатливые перья серых русских гусей. Право слово, для совместных ночных бдений можно найти занятия и поприятнее!

¹⁵ Торопись медленно (*лат.*).

Август 1729 года

– Господи! Неужто добрались? Неужто Москва? – потрясенно пробормотал Данька, вглядываясь в очертания высоченного, изумительно красивого терема, вдруг выступившего из-за леса. – А это небось Кремль?

Хорхе изумленно покосился на него:

– Пресвятая Дева, что вы такое говорите, сударь? До Москвы еще верст как минимум двадцать. И на Кремль сие строение никак не похоже, я видел его на рисунках в книге аббата Олеария¹⁶. Кремль – строение каменное, а это хоть и внушительное сооружение, но все же деревянное. Надо думать, это и есть имение ваших достопочтенных родственников, князей Долго-руких.

– Имение? – растерянно проронил Данька. – Неужто имения такими бывают?

Он и вообразить такого не мог! В его представлении имение было парой немудрящих деревенок, полями да лугами, ну, леском да речкою, а в придачу – барским домом на взгорке. И дом сей отличался от деревенских изб только большими размерами, ну, еще двумя ярусами да множеством пристроек, в разное время прилепившихся к нему, так что жильё Ворониных издали напоминало большую растрепанную наседку с прильнувшими к ней цыплятами. А это совершенное строение... истинный дворец! Именно в таких дворцах жили сказочные цари и короли, из таких дворцов похищал Змей Горыныч писанных красавиц. А вот и одна из них!

Данька сидел разинувши рот и смотрел на всадницу в синем, будто вечерние небеса, бархатном платье, которая во весь опор гнала через поле вороного коня. Круп его лоснился под солнцем, и точно такого же густого, вороного, черного цвета были великолепные локоны, ниспадавшие на точеные плечи красавицы. Конем она правила с великим мастерством, несмотря на то, что сидела в седле не по-людски, верхом, а почему-то бочком, свесив ноги на одну сторону. Данька и мгновения так не просидел бы на полном скаку, а красавице словно нипочем были ни бешеная рысь, ни резкие прыжки вороного. На лице ее сохранялось холодно-ватое-невозмутимое выражение.

Она пронеслась совсем близко от телеги, на которой поверх кулей громоздились Данька и Хорхе. Возчик успел проворно соскочить наземь и рухнуть на колени, да так неудачно, что конь лишь чудом не задел его. Шарахнулся; всадница грациозно заколыхалась в седле, словно цветок, и видно было, что ей удалось не упасть, удержаться только чудом. Натянула удила так, что вороной осел на задние ноги и покорно замер, тяжело поводя боками. Всадница обернулась; точеное лицо исказилось яростью, однако не стало от этого менее прекрасным. Она взметнула руку, взвизгнула плеть и крепко ожгла мужика; тот вскрикнул и сунулся носом в землю, признавая вину и покорно принимая наказание.

– Блюдись угождая, – негромко сказал Хорхе, однако всадница его услышала. Повернула голову, люто блеснула синими, точь-в-точь в цвет платья, глазами – Данька услышал, как Хорхе присвистнул восхищенно. Да и сам он не мог не поразиться этой несравненной красоте. Вот только недоброй она была, красавица, ох какой недоброй... Смерила взглядом двух оборванцев, снова занесла было плеть, да тут почуявший недоброе Волчок проснулся, высунул острую морду из-под Данькиного бока, разинул пасть и... нет, он даже не тявкнул, а коротко, предостерегающе рыкнул, однако этого хватило, чтобы конь вороной вдруг затрясся всем телом и ринулся вскачь, унося свою разъяренную всадницу, которой теперь нипочем было не управиться с ним, несмотря на все свое умение и жестокость, с которой она охаживала его плетью. Разве можно женщине справиться с животинной, которая почуяла волка!

¹⁶ Адам Олеарий – саксонский ученый и путешественник, в 30-х годах XVII века посетивший Россию и оставивший знаменитое «Описание путешествия в Московию».

Возчик, осмелившийся приподнять голову, проводил всадницу испуганными глазами и, привскочив, с ужасом воззрился на своих седоков.

– Ох, – он едва шевелил побелевшими губами, – ох, стубили вы меня, зарезали! – Слезы вдруг хлынули из его глаз, и это было так неожиданно, так диковинно, что Хорхе и Данька отупело на него уставились, ничего не понимая.

– Да ты что? – не выдержал наконец Данька. – Что с тобой? Кто эта барыня?

– Кто она?! Как, вы не знаете? Ах, мошенники, ах, лиходеи! Без ножа зарезали! Грех на вас!

Возчик, коренастый мужик лет пятидесяти, так жалобно распяливал рот, так тер глаза кулаками, что более напоминал ребенка, а не того свирепого деспота, каким он показал себя за два дня пути, пока Данька и Хорхе вынужденно пользовались его милосердием.

Сначала-то, когда, измучившись плаванием в протекавшем, неповоротливом челне, они увидели на берегу воз, груженный оброчным добром и следовавший в Москву, да не куда-нибудь вообще в столицу, а как раз в Горенки, имение Алексея Григорьевича Долгорукого, – в ту минуту им почудилось, будто это не человек, а посланец Божий, тем паче что он, пусть нехотя, согласился довезти их в Москву и только там получить плату. Оба, и Данька, и Хорхе, клялись и божились, что Алексей Григорьевич непременно вознаградит возчика за доброту. Тот долго не верил, однако, когда Данька упомянул о родстве со всемогущим вельможей, а Хорхе сказал, что имеет до одного из его приятелей секретное поручение, возчик все-таки милостиво согласился им помочь, присовокупив, что втроем в дороге значительно веселей, чем одному. Однако добродушия его хватило ненадолго. Первое дело, оба неохотно вступали в разговор с благодетелем, тары-бары с ним не растабаривали, ляды не точили, а все тихонько шептались меж собой, склонив голова к голове, черноволосую и светло-русую.

Возчик изнылся от скуки и любопытства – о чем они там судачат?! Изредка долетали обрывки слов о каких-то злодеях и душегубах, секретных бумагах, кем-то у кого-то похищенных, кожаном поясе, розовом каменном сосудце с золотой крышечкой, содержимое коего ценилось на вес золота, потому что давало *тайную власть*... Возчик жалел только об одном: что у него всего два уха, а не четыре или, к примеру, шесть. Ничего не понять из этих отрывочных слов, ну ничегошеньки!

Он расстроился и разозлился, но когда сообразил, что нечаянных седоков надобно не только везти, но и кормить, то и вовсе раскаялся в содеянном. Теперь он не чаял избавиться от попутчиков, однако не силком же их сбрасывать с воза!

А те мигом почуяли неладное и упускать удачу не намеревались, вплоть до того, что по нужде поочередно бегали. Оба отличались непонятной для возчика стыдливостью. Сам-то он, когда хотелось облегчиться, пускал струю прямо с воза, ну а эти разбегались под прикрытия придорожных кустиков, да еще по разные стороны дороги. Не велика была бы задача спихнуть в эти минуты оставшегося на возу (один мужик вовсе ледащий, другой – парнишка слабосильный) и подхлестнуть лошадей, только его и видели, кабы не псина их, более схожая повадками с волком... К тому же возчик все еще хранил слабую веру в то, что загадочная парочка его седоков и впрямь каким-то образом связана с Долгорукими. Однако сейчас, после этого удара плетью, после взрыва ярости у всадницы, которая не отстегала паршивцев только потому, что конь понес, – сейчас возчик окончательно уверился, что сделался жертвой обманщиков. Ведь если оба имели отношение к Долгоруким, как они могли не узнать молодую княжну Екатерину Алексеевну, любимую дочь князя Алексея Григорьевича? И она не подняла бы руку на багюшковых знакомцев. Ох, хитры ж они, обвели вокруг пальца, обмишурили, обставили на кону!

Все это возчик, путаясь в слезах, и высказал своим седокам. Хорхе и Данька вытаращились сперва на него, потом изумленно переглянулись.

– Linda donna! – восхищенно сказал один, что по-испански означало: «Прекрасная дама!»

– Краше свету белого... – пробормотал другой со странной тоской в голосе.

Громкий клик пронесся над полем, заставил задумавшихся людей резко обернуться. Несколько всадников вылетели из леса и понеслись через поле к усадьбе.

– Княжна-а! – упоенно орал один из них, черноволосый, румяный, крепкий и долговязый. У него было совершенно детское, неприятно-капризное лицо. – Княжна Катерина-а-а! Да постоите же! Вы уж обставили меня, погодите!

Он кричал вслед девушке в синем платье, которая никак не могла управиться с перепуганным конем. Юноша все подгонял, подгонял своего скакуна, но не мог догнать Екатерину Алексеевну.

Рядом, стремя в стремя, скакал широкоплечий синеглазый красавец, до такой степени схожий со всадницей, что их можно было принять за брата и сестру, когда бы у него волосы не были светлые, соломенно-желтые, а у нее – жгуче-черные.

«Накладные волосья! – осенило Даньку. – Как это их называла матушка? Парик! Пристало ли волосы чужих баб на голове носить?! А вдруг какая немытая попадется?»

Княжна Долгорукая тотчас перестала казаться ему такой уж ослепительной красавицей. Впрочем, ее вспыльчивость и заносчивость успели бросить изрядную тень на очаровательный образ, в первую минуту поразивший его воображение.

– Надо полагать, это Иван Долгорукий, фаворит императора, – послышался рядом задумчивый голос Хорхе, который с любопытством смотрел на синеглазого всадника. – Ну а с ним рядом... – Он запнулся, словно торопливо перевел дыхание, и Данька с удивлением отметил, что его новый знакомец, выдержке, самообладанию и терпению которого он не переставал дивиться все эти дни, чем-то очень взволнован. – А с ним рядом, очевидно, его императорское величество...

– Он, царь-батюшка, великий государь Петр Алексеевич! – послышался откуда-то снизу восторженный всхлип, и путешественники, свесив головы, увидели своего возчика, который стоял на коленях где-то у колес и старательно бил головой в землю, отвешивая поклоны придорожной пыли, уже скрывшей двух всадников серой занавесью.

Царь!.. Вот он, надёжа-государь, как испокон веков называли его русские люди! Данькина единственная надёжа на справедливость!

В одно мгновение он соскользнул с воза и, забыв обо всем, забыв о Хорхе, пустился по полю вдогон всадников, отчаянно крича:

– Государь! Ваше царское величество! – И даже, совершенно забывшись: – Батюшка Петр Алексеевич!

По счастью, топот копыт оглушал всадников, и они не слышали дерзких Данькиных воплей. И, задыхаясь, то крича, то шепча, он все бежал и бежал, ничего не видя толком впереди себя за пылью и из-за того, что ветром выбивало слезы из глаз. И вот так, сослепу, он вдруг натолкнулся на что-то большое и высокое, напоминающее дерево, но при этом теплое. Это нечто вцепилось в него мертвой хваткой и заорало дурным голосом:

– Держи, хватай! Слово и дело!

У Даньки все смеркло в глазах и подогнулись ноги... Даже в их деревенской воронихинской глухомани знали эти страшные слова: «Слово и дело государево!» Означают они, что человек, выкрикнувший их, желает объявить вину какого-то преступника и имеет неоспоримые доказательства ее. Поскольку доносчику за необоснованные обвинения полагался первый кнут (отсюда и пошла поговорка!), то есть первое и наиболее сильное наказание, выкрикнувший «слово и дело» из кожи вон лез, но силился доказать свою правоту. Судя по крепости вцепившихся в Даньку рук и по лужености глотки, из которой извергались пугающие вопли, человек намеревался любой ценой погубить свою жертву. За что?!

Данька рванулся что было сил, но с тем же успехом мог попытаться с самого себя содрать кожу. Его держали так крепко, что все, что он мог, это крепко лягнуть неприятеля в колено,

а потом, когда тот слегка отпрянул, саданул его коленом в пах. Но и теперь вражьи руки не разжались! Вернее, одна разжалась-таки: схватившись за ушибленное причинное место, неизвестный блажил во весь голос матом, но другой по-прежнему стискивал Даньку.

– Отпусти его, Никаха, – произнес рядом чей-то спокойный голос, но, поскольку противник не слышал ничего за своими стонами, голос прикрикнул раздраженно:

– Отпусти парня, кому сказано!

Мертвая хватка, однако же, не слабела, как вдруг послышалось злобное рычание, запахло псиным духом, и только тогда жестокие руки разжались. Данька кое-как перевел дух и проморгался. И... и едва не рухнул, где стоял, потому что прямо перед ним топтался на полусогнутых, пытаясь оторвать от себя Волчка, корячился, морща от боли толстошеекое лицо, не кто иной, как... Никодим Сажин!

Чудилось, еще раньше, чем узнал его, Данька выкрикнул:

– Слово и дело! – и вместе с Волчком вцепился в Никодима, затряс его что было силы: – Убийца! Душегуб проклятый! Держите его! Вяжите его!

– Держите его! Вяжите его! – завопил и Никодим, одной ногой пиная Волчка и люто косясь на Даньку: – Ограбил меня! Дочку ссильничал! Обездолил девку!

Данька даже оглянулся, изумленный: не стоит ли сзади тот, кому адресовано это последнее обвинение? Но сзади никого не было. А Никодим, не переставая пинать пса, все орал, все насакивал:

– Князюшка! Барин и хозяин! Царь-государь! Да есть ли на Руси, на родимой, правда-матка? Набежал ворог на наш дом, дочкино девство испоганил, мощну украл, а сам ушел безнаказанно! Да видано ли такое?

Ему удалось наконец отшвырнуть Волчка. Рухнул на колени и пополз, простирая руки, беспрестанно причитая, к трем высоким мужчинам, которые стояли поодаль и несколько озадаченно взирали на происходящее.

Пес попытался снова кинуться на него, однако Данька оказался проворнее. Схватил его за загривок, прижал к ноге и исподлобья глянул на этих троих, от которых, как он тотчас понял, в ближайшее время будет зависеть его судьба, а может быть, и жизнь.

Двоих он уже знал: это были синеглазый брат княжны Долгорукой и сам царь. Третий – крупный, отяжелевший от прожитых лет мужчина возрастом далеко за пятьдесят, с надменным выражением лица и важной осанкою – смотрелся чуть ли не внушительней юного государя.

– Ты кто же будешь такой, чтоб моего человека обижать? – спросил он негромко, и Данька узнал тот голос, который называл Никодима Сажина Никахой. Выходит, он знает этого негодя? И не его ли называл проклятый Никаха князюшкой, барином и хозяином? Уж не его ли владение – забрызганные кровью невинных людей Лужки? Но кто он таков?

И тут словно бы некое откровение снизошло на Даньку, а может быть, он усмотрел в чертах молодого Долгорукого и этого внушительного мужчины неоспоримое фамильное сходство, только ему сделалось все ясно: перед ним стоит сам Алексей Григорьевич Долгорукий. Он-то и есть хозяин Лужков и господин Никодима Сажина! Ведает ли князь о тех лихих действиях и лютостях, кои творятся в его имениях и, возможно, его именем прикрываемы?! Не может такого быть, чтобы ведал. Надо как можно скорее открыть ему глаза!

– Ваше сиятельство! – крикнул Данька, падая в ноги князю. – Ваше царское величество! – вспомнил он, что рядом стоит сам государь. – Не велите казнить, велите слово молвить!

– Ваше сиятельство! – отозвалось ему эхо, отозвалось почему-то на два голоса – толстый, грубый и гнусавый, неразборчивый. – Не велите казнить, велите слово молвить!

Данька растерянно повернул голову и узрел, что никакого эха и в помине нет, а рядом с ним на коленях стоят проклятый Никодим и еще какая-то толстомясая деваха с соломенными всклокоченными волосами и в грязном сарафане. На ее щекастом лице цвел свекольный румянец; слишком светлые, почти белые глаза блуждали с выражением неопределенным, то

ли сонным, то ли туповатым, рот вяло приоткрывался, с трудом выталкивая слова, словно был набит кашей:

– ...сиятельство... казнить... молвить!

Данька узнал этот голос сразу. Спасительница-губительница! «Русалка»! Удивительно – тогда, ночью, она казалась чуть ли не красавицей, а теперь... да на нее и смотреть тошно.

Однако что ж это получается, люди добрые? Она – дочка Сажина?

Ну, вот это сказка сказывается так сказывается!..

Август 1727 года

...Его вели по какому-то коридору в полумраке, а потом оставили в абсолютно темной комнате. Некоторое время он думал, что пребывает здесь совершенно один, но вдруг ощутил присутствие какого-то человека.

Он встрепенулся и принялся вглядываться в темноту, но ничего не увидел. Безликий, бестелесный голос спросил:

– Имеешь ли ты истинное желание быть принятым?

Этот вопрос ему уже задавали не один раз, да он и не явился бы сюда, когда б не имел такого желания. И все же он ответил покорно и смиренно:

– Мое желание быть принятым – искренно и неизменно.

– Каково твое имя и звание?

На мгновение он замялся, потому что носил два имени и оба мог считать истинными. Потом вспомнил подсказку своего напутствующего и отвечал именно так, как советовали:

– Я называюсь Алексом Валевским или Алексеем Леонтьевым, шляхтичем польским и дворянином русским, но отрекись от обоих этих имен во имя истины и с благодарностью приму то, которое братья сочтут нужным дать мне.

Темнота издала вздох, который можно было считать выражением довольства, потом потребовала, чтобы Алекс вынул из своих карманов все металлические вещи, монеты, отстегнул все пряжки, снял кольца; потом ему было велено обнажить правое колено и на левую, уже обутую ногу надели еще одну туфлю. Невидимый приготовитель завязал Алексу платком глаза, хотя он и без того ничего не видел, и оставил его на несколько минут для размышлений.

Джеймс – так звали его напутствующего – еще прежде подробно рассказал Алексу, что в это время происходит в соседнем помещении. Называлось оно ложей. Там уже собрались братья – мастер и два его помощника-надзирателя, секретарь и хранитель сокровищ. Джеймс был хранителем сокровищ, а его брат Джордж – мастером ложи «Сияющего разума». Джеймс рассказывал, что первым делом мастер и оба его помощника надевают на шеи голубые ленты, образующие треугольник на груди: у мастера висят на шее циркуль и линейка, старшие надзиратели носили один циркуль.

На стол мастера были поставлены свечи, на подсвечниках внимательный взгляд мог увидеть символические фигуры. Здесь было изображение царя Соломона, по чьему приказу был построен знаменитый Иерусалимский храм, в котором возникли первые таинства каменщиков, назвавшихся затем масонами, а также фигуры Гирама Тирского, поставившего материалы для этого строительства, и Гирама-Абифа, или Адонирама, убитого при сооружении храма тремя своими братьями. Алекс уже знал, что легенда об этом убийстве священна для всякого масона, поскольку именно она положила начало клятвам и многим ритуалам. В частности, клятва, которую он долго заучивал наизусть и которую ему еще предстояло произнести, была не что иное, как проклятие, названное на себя одним из убийц Адонирама.

Но произнесение клятвы было еще далеко впереди. Пока же Алекс размышлял о том, что происходит в комнате таинств – в ложе. Он знал, что на каждого брата надет белый передник – запон: точная копия рабочих фартуков каменщиков. Место мастера было за столом, на восточной стороне; перед ним лежала открытая Библия, на ней – циркуль, концы которого покрывал *ignis vitae*, или наугольник. Старший и младший надзиратели стояли напротив него, на запад и на юг.

Алекс уже знал, что, несмотря на кажущуюся нарочитость символов, все они имели свой особенный смысл. Линейка и отвес означали равенство сословий. Угломер был символом справедливости, циркуль – общности, а наугольник означал совесть. Дикий камень означал грубую нравственность, хаос; кубический камень – нравственность «обработанную». Молоток

служил для обработки дикого камня, а также, являясь принадлежностью мастера, служил символом власти, молчания, повиновения, совести и веры. Лопаточка – снисхождение к слабостям человека и строгости к себе.

Одежды масонов изображали добродетель. Круглая шляпа была знаком вольности. Обнаженный меч – карающий закон: это был знак борьбы за идеалы масонства, казни злодеев, защиты невинности. Кинжал значил предпочтение смерти поражению, борьбу за жизнь и смерть. Масоны носили кинжал на черной ленте, на которой серебром был вышит девиз: «Победи или умри!»

Алекс знал, что ему стало ведомо слишком многое: ведь символика атрибутов и ритуалов разоблачалась только давшим клятву сохранения тайны и соблюдения орденских знаков. Джеймс рисковал, доверив ему столь многое, но он верил Алексу и не сомневался, что тот не обманет его веру. Алекс тоже был убежден в этом.

В общем-то, он мог бы и не вступать в ложу. Однако Джеймс видел особый смысл в том, чтобы Алекс совершил весь необходимый ритуал. Ведь смысл масонства состоял в отрицании всякой отдельно взятой религии во имя общей, единой для всех людей веры («Мы больше не можем признавать Бога как цель жизни, мы создали идеал, которым является не Бог, а человечество»), – а на том пути, который предстояло свершить Алексу, ему придется противостоять двум самым сильным, самым влиятельным конфессиям: католицизму и православию, глубоко поразившим сознание народов. Особенно страшило православие, которое взяло в такой прочный плен русских... Джеймс считал, что ритуалы масонства укрепят его душу. А самое главное – сокровенный символ масонства гласил: человек выше отечества. Алексу же предстояло вернуться именно в отечество свое и своих предков. Одно дело действовать в чужой земле, другое – на своей родине. Джеймс опасался – Алекс знал это! – власти России над ним, той глубокой, исконной власти, от которой так трудно избавиться, Джеймс был убежден, что клятвы и ритуалы помогут Алексу уберечь в целости всю его убежденность в том, что монархическое устройство России – неизбежное зло, терпимое лишь до установления более совершенного строя. Петр Первый был монарх, как раз одобряемый масонами, поскольку сам являлся масоном и разрушителем как государственного устоя, так и религиозных воззрений своей страны. Однако юный наследник его преемницы, Екатерины Первой, пока являлся некой загадкой для масонов. К нему слишком уж усердно тянулись отцы-иезуиты, желавшие насадить унию в России, а встретить там вместо православия католический образ веры – это означало продолжение борьбы. Если же удастся опередить иезуитов...

Алекс мотнул головой, прогоняя назойливые мысли. Время шло. За стеной вершилось таинство, участником коего ему вот-вот предстоит стать.

Убедившись, что все заняли свои места, мастер приступил к открытию ложи, спросив младшего диакона:

- Какова первая обязанность масона?
- Смотреть, чтобы ложа была открыта.
- Исполните свою должность.

Младший диакон ударил три раза в дверь, и брат-кровельщик, стоящий на страже у дверей, ответил такими же тремя ударами.

Диакон донес об этом мастеру:

- Достопочтенный, ложа открыта.
- Скажите, где место младшего диакона в ложе? – спросил мастер.
- Позади старшего надзирателя или по его правую руку, если он позволит.
- В чем состоит ваша обязанность?
- Передавать поручения от старшего надзирателя младшему, чтобы они могли быть сообщены по ложе.

Затем, знал Алекс, будут сделаны вопросы старшему диакону, младшему надзирателю и старшему:

– Где место старшего надзирателя в ложе?

– На запад, – отвечивал тот.

– Какова ваша обязанность там, брат?

– Как солнце заходит на запад, чтобы окончить день, так и старший надзиратель стоит на западе, чтобы закрывать ложу, платить людям их заработок и отпускать их с работы.

– Где место мастера в ложе? – раздался наконец вопрос, и старший надзиратель отвечал:

– На восток.

– В чем его обязанность там?

– Как солнце всходит на востоке, чтобы открыть день, так мастер стоит на востоке, чтобы открыть свою ложу и поставить людей на работу.

Тут мастер снял шляпу и произнес:

– Эта ложа открыта во имя святого Иоанна; я запрещаю всякую брань, клятвы или шепот, и все профанные разговоры, какого бы рода они ни были, под не меньшим штрафом, чем какой положит большинство.

Мастер трижды ударил о стол деревянным молотком и надел шляпу; остальные братья остались без шляп.

Алекс затаил дыхание, услышав приближающиеся к нему шаги. Это означало, что его ждут. Еще несколько минут – и таинство вступления свершится...

Август 1729 года

– Мавруха! – взревел Сажин, поворачиваясь к дочери. – А ну покажи, кто тебя испортил! Огромное мыслительное усилие отразилось на бесформенном Маврухином лице, а потом белые глаза поползли по лицам стоявших вокруг и остановились на Данькином.

– Этот, должно, – проговорила она как бы в задумчивости, но тут же радостно замахала руками: – Он, он, родименький! Толечко он не один был. Вдвоем они меня еть взялись. Этот – белявенький, а с ним еще один был – чернявенький. Глазастенький такой, приглядный на диво. Ой, уходили они меня так, князюшка, что я аж взопрела вся! – доверительно сообщила Мавруха.

Старший Долгорукий вдруг закашлялся. Сын его поджимал расплывающиеся губы, прятал глаза. Ну а молодой государь уже откровенно хохотал, озирая Мавруху с головы до ног и то морщась брезгливо, то вновь закатываясь.

– Чего ржешь-то? – спросила она, внезапно разобидевшись. – Сам, поди, знаешь, каково легко девку завалить. Нашепчи ей в ушки сладкие слова, посули замуж взять – она уж и ноги врозь.

Вот не ожидал Данька, что в таком положении, в каком оказался, он еще сможет краснеть, однако щеки его так и ожгло.

– А замуж тебя кто взять сулил? – спросил, давась от хохота, Петр Алексеевич. – Белявенький или чернявенький? Или оба враз?

– Так оно и было, – отозвалась Мавруха, – так оно и было, как ты сказываешь, сударь. Оба сулили.

– Ну, господа, это уж чудеса какие-то! – наконец не сдержал смеха и молодой Долгорукий. – Я слыхал, что у магометан один мужик имеет при себе нескольких жен, содержит их в гареме, однако чтобы у женщины были враз два мужа – этого небось ни у каких магометан не отыщешь! Мужской гарем – вот так новость!

Мавруха с самым оскорбленным видом набычилась. Теперь ее налитые кровью глаза были устремлены на Долгорукого с таким выражением, что Данька непременно пожалел бы его, когда б у него было на то время. Честное слово, казалось, дикая девка вот-вот даст волю своему безумию и набросится на красавца князя. Но тут белые глаза ее скользнули в сторону, взгляд замер – и тяжелые черты исказились таким пылким вожделением, что Даньке аж неловко наблюдать сделалось.

– Ми-ле-но-чек! – произнесла, нет, провыла, а вернее, промычала Мавруха с неопишымым выражением сладострастия. – Черногла-азень-ки-ий!..

И, взметнув подол своего замызанного сарафанища, она метнулась, простирая руки, к приблизившемуся тем временем возу, на самом верху которого по-прежнему возлежал оборванец с удивительными черными очами – дон Хорхе Сан-Педро... или как там, Данька со страху позабыл.

При виде иноземца Никодим Сажин покачнулся так резко, что Даньке почудилось, будто злодей прямо сейчас грянется замертво. Однако негодяй оказался крепок что нутром, что статью. Воззрившись на нового свидетеля своих преступлений, он снова истошно завопил:

– Слово и дело! Слово и дело государево!

Человек, к которому эти выкрики имели самое непосредственное касательство, а именно – государь русский, с мученическим видом покачал головой. Было совершенно ясно, что эта затаившаяся невнятица и суматоха его изрядно утомили.

– Твой ли это человек, Алексей Григорьевич? – обратился он к старшему Долгорукому, кивком указывая в это время на Сажина.

– Мой, ваше императорское величество, – поклонился тот, приложив руку к груди.

– Ну, коли твой, тебе, князь, и разобрать, чья в чем вина.

Никодим, по-бычьи нагнув голову, ринулся вперед и рухнул на колени перед Долгоруким:

– Князь-барин, сам знаешь, мы твои верные холопы. Оброк исправно платим, барщину обрабатываем. Всякий лишний грош отдаем твоей милости. А эти двое в стоворе задумали меня последнего достатку лишит – чтоб я не имел даже самой малости тебе, отец наш, отдать. Ночевальщиками представились, а когда весь дом уснул, пошли с ножами грабить да насильничать...

– Ну, ты лихо с ними расправился, Никаха, – насмешливо перебил его молодой Долгорукий. – Малец еле на ногах держится, а этот... этот и вовсе будто только что из могилы восстал!

Он указывал на Хорхе, который тем временем кое-как сполз с воза и, шатаясь при каждом шаге, что былина на ветру, пытался одолеть те несколько шагов, которые отделяли его от Никодима, причем черные глаза его горели уже знакомой Даньке ненавистью. Остальные невольно попятнулись, а Никодим Сажин, на которого и был устремлен этот взгляд, даже руками загородился, словно обожженный кипящей смолой.

– Изыди, сатана, – прошептал он, пытаясь сотворить крестное знамение. – Чтоб тебя черти на том свете на сковородке жарили!

– Полагаю, они будут жарить тебя, презренный негодяй, вор, палач! – произнес Хорхе еще слабым голосом, но с такой убийственной силой ненависти, с таким благородством выражения, что взгляды господ невольно обратились на него не с недоверием или презрением, а даже с неким подобием уважения. – Ваше императорское величество, сей гнуснейший оплевок предательски убивал людей, имевших неосторожность воспользоваться его гостеприимством, а потом хоронил их в лесу, скрывая следы своих многочисленных преступлений. Свидетельствую, что его жертвами стали трое моих спутников, а также родители этого несчастного юноши. Он и я – мы спаслись только чудом. Негодяй, впрочем, не только убийца, но еще и клеветник. Клянусь честью дворянина, честью рода, к которому принадлежу, что ни я, дон Хорхе Сан-Педро Монтойя, ни мой молодой спутник и пальцем не тронули его распутной дочери. Кроме того, он вор. Я сам ограблен им. Похищено восемь тысяч золотых песо, которые везли я и мои спутники для передачи испанскому посланнику при вашем, великий государь, дворе, – герцогу де Лириа.

– Де Лириа? – воскликнули в один голос император и Иван Долгорукий, а князь Алексей Григорьевич простонал едва слышно:

– Восемь тысяч золотых?!

– Именно так, – кивнул Хорхе. – Я имел к герцогу разного рода поручения от короля и господина моего Филиппа. Однако вместе с деньгами были украдены и все документы, удостоверяющие мою личность как нового переводчика испанского посольства.

– Назовитесь, сударь, – приказал молодой царь. – Мы можем устроить вам встречу с де Лириа, и, коли вы не лжете, он подтвердит ваше имя и звание.

– Беда в том, – сокрушенно качнул головой Хорхе, – что я не имею чести быть знакомым с господином посланником. Он многожды сообщал духовнику нашей милостивой королевы, архиепископу Амиде, который ведает при испанском дворе дипломатической перепиской, что ему необходим переводчик. Решено было послать меня, поскольку я хорошо знаю русский язык. Архиепископ Амиде также знал, что герцог испытывает денежные затруднения и давно не получал причитающегося ему вознаграждения за службу, поэтому я согласился заодно доставить ему крупную сумму. Теперь я ограблен, тяжело ранен этим негодяем и его приспешником, – он коснулся уродливого шрама, пересекавшего грудь, – а добавок ко всему и обесчещен, ибо не сдержал данного моей королеве слова...

Лицо его исказилось страданием.

– Коли все было так, как вы говорите, сударь, – взволнованно произнес молодой царь, – вины вашей в том нет, а значит, и бесчестие ваше... Что с вами? – воскликнул Петр Алексе-

евич, с юношеской живостью протягивая руки к покачнувшемуся Хорхе, однако не успел его поддержать: страшно побледнев, тот тяжело грянулся оземь, словно кто-то незримый подсек его невидимой косою под коленями.

Данька молча кинулся вперед, упал рядом и приподнял его голову. Сквозь туман в глазах увидел, что жилочка на шее слабенько трепыхается. Жив, слава Богу! Из последних сил жив!

– Ваше вели... величество... царское... – Он путался в словах, а из глаз поползли предательские, не мужские, а совершенно девчоночьи слезы. – Ради Господа Бога, будьте милосердны, велите помощь ему оказать. Рана так тяжела, изнемог он совсем, того и гляди помрет!

– Окажите раненому гостеприимство, Алексей Григорьевич, – произнес царь, обращаясь к князю Долгорукому, однако задумчиво разглядывая при этом Даньку. – Пошлите нарочного к де Лириа. Не ровен час, этот господин умрет, а если он и впрямь испанский дворянин, у него наверняка найдется, о чем поговорить с герцогом хотя бы напоследок.

– Неужто вы поверили в это? – ухмыльнулся князь Иван. – Разве похож он на испанца, хоть среди кавалеров и слуг де Лириа все такие же вот чернявые, однако что-то я не слышал от них ни единого словечка по-русски. Для них «здрасьте-прощайте» вымолвить – труднее, чем нам «Отче наш» задом наперед прочесть. Этот же шпарит по-нашему, словно... словно не из Мадрида к нам явился, а из Смоленска какого-нибудь.

– Да, – с сомнением отозвался Петр Алексеевич. – А и впрямь... Не врет ли этот «черноглазенький»?

– Не врет! – торопливо отирая с лица слезы, выкрикнул Данька, возмущенно слушавший их разговор, вцепившись в загривок Волчка и с трудом удерживая пса, который ужасно заволновался, увидав неподвижно лежавшего хозяйского приятеля, к которому он очень привязался за время пути и в котором чувствовал ту же силу и волю жоака, что и в прежнем хозяине, беспрекословно готовый ему подчиняться, руководимый вековым звериным чутьем. – Не врет, вот те крест святой!

Данька торопливо перекрестился, высвободив правую руку, и тут же вновь покрепче схватил Волчка.

– Ведь Хорхе – он природный русак, имя его Алексей, Алеша, иногда, сказывал, его Алексом в память о прежнем имени кличут. И он как раз со Смоленщины родом. Родители его были многодетные, а другого богатства не имелось в семье, кроме ребятишек. Случалось, что голодом голодали! И вот как-то раз проезжал через их городок один польский пан, увидел голодного мальчишку, пожалел, с собой забрал. Вырос у него Алеша, грамоте обучился, а поскольку он еще совсем дитя был, тот шляхтич его в свою латинскую веру перекрестил. Ему-то что было? Ничего не понимал! – частил Данька, стреляя глазами от Долгоруких к царю и обратно и что было силы пытаясь обелить своего нового друга, хотя помнил, как насторожила его самого эта история о смене отцовской, православной веры на чужую, католическую. – Ребенок – он и есть ребенок... И жил он в Польше до двенадцати лет, говорит, хорошо жил, жена того поляка – она русская была – не давала ему нашу речь позабыть. А потом поляк – он был на королевской службе – поехал по какой-то надобности в город Вену, где встретил испанского боярина по фамилии Монтойя. У него как раз незадолго до этого умер единственный сын, и когда он увидел Алекса, то чуть ума не лишился, ибо оказались они схожи с тем умершим, что две капли воды. Уж не ведаю, как Монтойя уговорил поляка отдать ему Алекса, только тот отдал-таки. Боярин испанский нашего Алекса усыновил, дал ему новое имя, какое подобает по испанскому обычаю, воспитал его. И по достижении нужного возраста определил на службу к королю, как своего законного сына. Так что вот...

– Брешет, брешет он! – раздался в эту минуту голос Никодима Сажина, который притих было, пораженный разворотом событий, а теперь, почуяв, что его врагам особой веры нет, решил подлить масла в огонь. – Сказки, байки! Да слыханное ли дело?! Ишь, испанец он, да поляк, да русский разом – не разбери поймешь кто! В огороде бузина, а в Киеве дядька.

А этот? – грозно подступил было к Даньке, но тотчас отпрянул на безопасное расстояние от Волчка. – Этот-то кто таков будет? Тоже небось иноземец? Понаехало вас тут на нашу голову – на добрых людей напраслину возводить да девок нашенских бесчестить!

– Да кто ее бесчестил-то! – возопил окончательно выведенный из терпения Данька. – Кто, ну кто?!

– Ты! – подскочила к нему Мавруха, у которой припадки возмущения по поводу утраченного девства странным образом совпадали с приступами отцовской ярости, а стоило Никодиму успокоиться или забыться, как и она переставала переживать. – Ты и бесчестил. Как завалил меня на спину, да еще придавил, чтоб не дергалась...

– Опять за рыбу гроши, – процедил сквозь зубы Данька. – Ну, с меня хватит!

Этот возмущенный выкрик вызвал откровенную усмешку на лице государя, который поглядывал на Даньку без особого гнева, а даже с некоторым расположением, которое всегда возникает между сверстниками. Ведь Даньке с виду было лет пятнадцать от силы, а императору только через два месяца, 12 октября, должно было исполниться четырнадцать. Он прежде времени повзрослел, оказавшись на троне, а оттого выглядел значительно старше своих лет. Причем люди, хорошо его знавшие, помнили, что так он стал смотреться, едва заговорили о возможном для Петра Алексеевича престолонаследии. Тогда светлейший князь Меншиков взял его под свое крыло, объявил женихом дочери – и Петр наконец сообразил, что он больше не изгнанник в собственном отечестве, а его грядущий властелин. Он то казался избалованным ребенком, то в чертах его проскальзывала некая ранняя умудренность, порою даже усталость от этой мудрости – этакая брезгливая пресыщенность, какую можно увидеть в лицах пожилых людей, но какой не наживают некоторые старики, прожившие счастливую жизнь. Жизнь юного русского императора никогда нельзя было назвать счастливой, оттого и обрели его черты выражение холодного недоверия ко всем и каждому, оттого и производил он отталкивающее впечатление престарелого юнца.

Вот и сейчас он смотрел на распаленного злостью и горем Даньку так, словно хотел сказать: «С тебя хватит, говоришь? Ты намерен что-то изменить? Но здесь только один человек волен и способен менять судьбы людей. Этот человек – я, а твоя участь – покорно снести все, что предписано моей волей!»

Однако Данька, чье терпение совершенно иссякло, даже не дал себе труда заметить пренебрежительную усмешку императора. Он пошарил вокруг взглядом, и лицо его прояснилось, когда он заметил чуть поодаль прекрасную всадницу в синем платье – Екатерину Долгорукую. Все были так увлечены случившимся, что не обратили внимания на ее появление, а княжну слишком утомило единоборство с конем, чтобы наброситься на мужчин с упреками за невнимание к своей особе. Все, в чем она пока что смогла выразить недавнее ее раздражение, – это грубо отпихнуть стремянное, который помог ей сойти с седла, и горничную девушку, пытавшуюся смахнуть пыль с роскошного платья госпожи.

Данька вскочил с колен и низко поклонился красавице.

– Простите, ради Бога, за вольность, – сказал он с выражением таким свободным, словно к высокородной княжне обращался не измученный оборванец, а по меньшей мере равный ей по рождению. – Позвольте вам секретное словечко молвить.

Княжна, то ли от изумления, то ли от возмущения, не издала ни звука – только кивнула. Оба князя Долгорукие и император тоже не успели вмешаться, явно пораженные такой наглостью и опешившие. На лице Екатерины промелькнуло выражение брезгливости, когда Данька подошел к ней слишком близко, она отпрянула было – однако при первых же его словах, оставшихся неслышными для остальных, широко распахнула свои удивительно синие глаза и взглянула на юнца с таким выражением, что любому стало ясно: на смену злости пришла полная растерянность. Она даже приоткрыла маленький вишневый ротик и совсем по-девчоночьи уставилась на Даньку, который посматривал на нее с затаенной улыбкой.

Более того! Точно такая же улыбка, словно отразившись в зеркале, засияла и на точеном лице княжны!

– А не врешь? – вымолвила наконец Екатерина.

– Да ведь в том очень просто убедиться, – ответил Данька, плутовски склонив голову.

– И в самом деле, – с этим новым, необычайно красившим ее, девчоночьим выражением хихикнула княжна и что-то шепнула своей горничной.

Девка хлопнула было глазами, запнулась, но, заметив промельк недовольства на лице барыни (княжна Екатерина была точным подобием отца, а значит, вспыльчива до крайности), заспешила к дому, схватив за руку Даньку и волоча его за собой. Он едва бросил прощальный взгляд на Хорхе, по-прежнему лежавшего на земле, и сделал знак Волчку. Пес тотчас лег рядом с раненым.

Октябрь 1728 года

– И когда же мы теперь опять увидим его величество? – в голосе барона Остермана звучала безнадежность.

Степан Васильевич Лопухин, камергер государя, посмотрел виновато:

– Сказали, воротятся не прежде, чем выпадет первый снег. Уж больно по нраву борзые пришлись!

– А, будь неладен этот де Лириа! – простонал Андрей Иваныч. – То на все готов, чтобы заставить государя отвлечься от здешних забав и воротиться в Петербург, то нарочно понуждает его к пустому времяпрепровождению! Это же надо было додуматься: из самой Англии выписать двух борзых для презента молодому императору! И это прекрасно зная, как его величество увлечен охотой! А между тем сказано в Писании: не искушай малых сих. Чертов испанец!

– Скорее чертов англичанин, – усмехнулся высокий, с грубоватым, умным лицом человек, сидевший напротив Остермана и представленный Лопухину как Джеймс Кейт.

После этой реплики Степан Васильевич тоже не смог не улыбнуться, потому что Джеймс Кейт и сам был англичанином, хотя прибыл из Испании, подобно герцогу де Лириа. Впрочем, тут имелись свои тонкости. Английский консул Клавдий Рондо, находившийся в Кронштадте, глаз не спускал с Кейта все то время, пока он жил у адмирала Гордона. Ведь консул Рондо был приверженцем законной британской королевской власти, монархии протестантов, а Кейт являлся сторонником католика, свергнутого и умершего в изгнании принца Иакова II, родственником и тоже приверженцем коего был герцог де Лириа. Таких, как Кейт, называли якобитами. Посещая Россию, все заезжие якобиты считали своим долгом непременно посетить дом Патрика Гордона-младшего, такого же ярого католика, каким был его отец, знаменитый адмирал Гордон, верный сотрудник Петра Первого. Изгнанные из Англии якобиты-католики нашли приют и покровительство в Испании, чему ярчайшим примером был тот же де Лириа. Однако Кейт, радуя за возвращение престола претенденту (так англичане называли изгнанного короля Иакова II Стюарта, а потом и его сына, Иакова III, жившего теперь в Италии), в то же время являлся убежденным протестантом, отчего и не мог устроиться на королевскую службу в католической Испании, а принужден был искать своей доли в России, равно доброй ко всякому иностранному сброду.

«Сплошная путаница, где протестант, где католик, голову сломаешь с этими иноземцами», – подумал не без досады Лопухин, который, хотя и был женат на чистокровной немке-протестантке Наталье Балк, родственнице бывших императорских фаворитов Анны и Виллима Монсов, хотя и дружил-водился через нее с Карлом-Густавом Левенвольде, Остерманом и прочими немцами, прижившимися при дворе, все же не мог избавиться от свойственного всем русским, глубоко укоренившегося, исконного недоверия к чужестранцам. Впрочем, мнения свои Лопухин держал при себе, потому что ко всем вышеназванным, а также к испанцу де Лириа весьма благоволил молодой император, а тем паче – его сестра, великая княгиня Наталья Алексеевна.

– С первым снегом вернется, – фыркнул Остерман, подходя к окну и вглядываясь в серую морось, занавесившую московские улицы. – Дождись-ка его, этого первого снега! – И он протер красные, воспаленные глаза.

Всем было известно по словам де Лириа, что Остерман страдает неизлечимой болезнью с мудреным испанским названием *fluxion à los ojos*. На маленьком столике возле камина стояла баночка с неприятно пахнущей мазью. Похоже было, что Остерману не терпится заняться облегчением своих страданий.

Лопухин почувствовал себя неловко. Он бы с удовольствием оставил хозяина в покое, да правила приличия, называемые этикетом, не позволяли гостю откланяться прежде того, кто

ранее его явился с визитом. То есть первым должен был удалиться Кейт, а уж потом получали возможность убраться восвояси супруги Лопухины. Кейт же сидел несходно, потирая свои крупные, короткопалые, сильные руки, украшенные одним только массивным золотым перстнем с черным простым камнем. При этом он не сводил взгляда с хозяина, и постепенно мнимо, насмешливое лицо его принимало все более озабоченное выражение.

– Осмелюсь спросить, господин Остерман, кто пользует вас? – наконец выговорил он, когда Остерман принялся потирать глаза с особенно отчаянным выражением.

– Кто же, как не Лаврентий Блументрост, лейб-медик его величества? – проворчал Остерман.

– Судя по выражению вашего лица, вы не больно довольны способностями сего лекаря?

Остерман еще ниже повесил свой и без того унылый нос. Ей-богу, Лопухин вполне понимал его! Лаврентий Блументрост прочно занимал свое лейб-докторское место. Отец его, тоже Лаврентий Блументрост, начал карьеру при дворе в конце прошлого века, сын унаследовал сей пост, хотя насчет его знаний и умений существовали разные мнения. Еще когда прежний государь лежал при смерти, английский лекарь Николас Бидлоо во всеуслышание распространялся о полной непригодности Блументроста к своему ремеслу. Очень может быть, что знаний у Лаврентия Лаврентьевича так и не прибавилось, в отличие от непомерного гонора.

– Я, конечно, далек от того, чтобы давать медицинские советы, – с какой-то особенной, сразу подмеченной Лопухиным осторожностью проговорил Кейт, – однако медицина в наше время весьма продвинулась вперед. Я слышал, что даже вещества, коими в прежние времена только лишь травили своих противников, теперь с успехом применяются для лечения разных заболеваний. Даже этот ужасный мышьяк...

– Как это любопытно! – послышался оживленный женский голосок, в котором Лопухин с некоторым удивлением узнал голос своей супруги.

Кейт привстал, чтобы оказать даме любезность и подать ей кресло, однако Наталья Федоровна уже сама позаботилась о себе. С живостью устроилась поблизости, на диванчике, подперлась округлым белым локотком, вокруг которого красивенько легли волны кружев, коими оканчивались рукава ее атласного голубого платья, и устремила на Кейта свои совершенно синие, какие-то даже ненастоящие, словно бы нарисованные глаза. Впрочем, личико у Натальи Федоровны тоже было как бы ненастоящее, фарфоровое.

Лопухин неприметно вздохнул, видя, как заиграли глаза Кейта, устремленные на Наталью Федоровну. Господи, ну что находят мужики в этой накрашенной кукле? Впрочем, он ведь и сам в свое время пленился ее нарисованной, искусственной красотой, и немало прошло времени, немало пар рогов выросло на лысеющей голове Степана Васильевича, прежде чем его искренняя любовь к жене сменилась привычной скукой и равнодушием. Однако же нельзя отрицать, что Наталья необычайно умна тем практическим немецким умом, который делал из нее и хорошую хозяйку, рачительно ведущую дом, и позволял удерживать место первой красавицы при дворе, увеличивая число своих доходов и без помощи кошелька законного супруга. Степан Васильевич давно и со многим смирился и даже научился извлекать пользу из увлечений жены.

Нельзя ли извлечь эту самую пользу из ее флирта с Кейтом? Лопухин вслушался в разговор.

– Вытяжкой из мышьяка сейчас научились исцелять очень многие болезни, – любезно рассказывал иноземный гость. – Это совершенно волшебное средство называется тинктура моруа. Мне чудом удалось сделаться обладателем малой порции этого чудодейственного лекарства.

Разумеется, Кейт, как и мадам Лопухина за минуту до него, нес чистую околесицу. Тинктура моруа не имела к мышьяку никакого отношения. Даже тинктурой, то есть настойкой, она называлась чисто условно. Это было сложносоставное средство, смесь вытяжек различных рас-

тений, от наперстянки до экзотического алоэ, Кейт и сам толком не знал названий всех компонентов этого зелья. Зато он знал все о его свойствах, и знал отлично... Разумеется, он не собирался никого посвящать в такие тонкости, а потому с прежним оживленным выражением говорил:

– Об одном сожалею, господин Остерман, что не могу вам порекомендовать тинктуру моруа. Насколько мне известно, это не панацея, тем паче не поможет она от глазных болезней. Однако если кто-то из вас или ваших близких хворает грудными болезнями или, боже упаси, холерой...

– Про холеру мне ничего не известно, а вот великая княжна определенно страдает грудной болезнью, – заявила Наталья Федоровна, но Кейт, похоже, пропустил эти слова мимо ушей.

– Внимание, господа!

Он несколько раз красиво щелкнул пальцами, словно жонглер, который готовится поразить публику ловкостью своих рук, и изящным жестом выхватил из кармана камзола плоский флакончик с золотой крышечкой:

– Рекомендую! Тинктура моруа!

Наталья Федоровна издала восхищенное восклицание, однако было бы затруднительно определить, относится оно к содержимому флакона или к нему самому, поскольку вещь и в самом деле была замечательная. Каждому выпало удовольствие подержать ее в руках, полюбоваться отшлифованной темно-синей яшмой, из которой был сосудец выточен, а также золотой крышечкой, притертой настолько прочно, что даже невозможно было угадать, как она отвинчивается или снимается.

– Не пытайтесь открыть, господа, – посоветовал Кейт, не без опаски следя за мягкими, алчными ручками Натальи Федоровны, которая самозабвенно сражалась с крышечкой. – Чтобы открыть флакон, надобно знать особую хитрость. Кроме того, жидкость весьма летуча и быстро испаряется. А мне бы не хотелось лишиться ни капли ее. Это и в самом деле уникальное произведение химической науки. Несколько капель – ну, для каждой болезни есть своя определенная дозировка – сделают человека здоровым. Другое количество способно лишь усугубить признаки имеющегося у нее... я хочу сказать, у него, прошу прощения, я все еще говорю по-русски с ошибками! – имеющегося у него заболевания, постепенно сведя больного в могилу. Третье количество убьет вашего врага на месте. Но самое интересное свойство имеет всего лишь одна капля тинктуры моруа – одна капля, господа! Эта капля, добавленная в спиртной напиток, водку или вино, полностью подавляет волю человека и делает его покорным исполнителем всех желаний и повелений того, кто подал ему напиток.

– Ну, это сказки какие-то, – проворчал трезвомыслящий Остерман, ожесточенно натирая свои и без того красные, опухшие от непрерывного зуда веки. – Как это мыслимо: полностью подавить волю человека? Да и кому это нужно? На что?

– Ну, не скажите, Андрей Иваныч, – задумчиво пропела Наталья Федоровна. – Ну, не скажите...

Синие глаза ее загорелись поистине адским, коварным огоньком, и Степан Васильевич надулся, как мышь на крупу. Он отчетливо представлял, о чем сейчас размышляет его супруга. Полная власть... в сознании Натальи Лопухиной это словосочетание имело смысл только по отношению к мужескому полу. Полная власть над мужчинами!

«Мало ей, что ли? Кого еще решила к своей юбке пришить? Левенвольде, что старший, что младший, покорные рабы, по слухам, консул Рондо тоже не против, да и вообще... Неужто за этого якобита Кейта взяться решила?» – тоскливо, обреченно привычно подумал Степан Васильевич, даже не подозревая, что на сей раз он категорически ошибается насчет помыслов своей жены. Наталья думала только о своем собственном, венчанном, родном, до смерти надоевшем муже. Вот чью волю она хотела бы подавить!

И не только она...

Август 1729 года

– Катя, ты что?.. – начал было Алексей Григорьевич, но самоуверенная красавица только повела смеющимися глазами – и он замер, усмиренный.

Спору нет, князь Долгорукий был скор на расправу и умел с удовольствием ставить людей, даже самых близких, на место. Наедине с дочерью, пусть даже он ее и очень любил, князь не полез бы в карман ни за оплеухой, ни за грубым, уничижительным словом, однако в присутствии императора он обращался с Екатериной с не меньшей почтительностью, чем с самой великой княжной Натальей Алексеевной, как бы подавая пример венценосному юнцу. Сказать по правде, последнее время, когда далеко идущие намерения окончательно сложились в голове князя Долгорукого и он понял, какими путями можно приблизиться к желаемому – верховной власти, отец и наедине стал обращаться с дочерью иначе, стараясь не унижать ее и не грубить ей, а также со всем возможным старанием удерживался от рукоприкладства. Черт знает, если все так пойдет, как рассчитывает Алексей Григорьевич, если все *сложится*, не придется ли ему самому в ногах у Екатерины ползать, вымаливая прощение за каждый тычок, каждую оплеуху, каждое ехидное словцо? Лучше, чтобы таких грешков было поменьше, потому что нрав у доченьки такой же крутенький, как у батюшки. Сейчас ее прогневишь – как бы через год с головой не проститься!

Итак, старый князь смолчал. Не обмолвился ни словом и молодой Долгорукий, однако по другой причине. Сестру и отца он ненавидел (в его оправдание можно лишь сказать, что эта ненависть была порождением их ненависти и вынужденным ответом на нее), а потому страстно желал, чтобы Екатерина, которую Алексей Григорьевич старательно сводил с молодым императором – со всеми замашками опытной, прожженной сводни! – попала в дурацкое положение. Подобно всем высокородным гордячкам, она не выносила ни малейшей насмешки над собой, всякая ухмылка, пусть даже в сторону, казалась ей оскорблением ее достоинства. Что бы она там ни задумала с этим бродяжкой, будет очень забавно поглядеть, как она сядет в лужу.

Император Петр Алексеевич также не издал ни звука, поскольку в разговорах с княжной Екатериной не находил ни малейшего удовольствия. Вот наперегонки с ней скакать верхом – дело другое, всадница она отменная. А все прочее... Честно говоря, княжну Екатерину он не находил ни красивой, ни даже привлекательной. Его вообще раздражали точеные высокомерные красавицы. Именно такой была его прежняя невеста Мария Меншикова, по слухам, нашедшая свою смерть в далеком сибирском Березове. И этот городишко за тридевять земель, и судьба Меншиковых волновали молодого императора не просто мало, а вообще никак не волновали. Его неразвитый ум не способен был к длительному напряжению, и вспышки мудрости, прозорливости или просто трезвой разумности не только не просветляли его, но вызывали огромную усталость, вплоть до головной боли. Чудилось, состояние равнодушия и даже отупения, которые приходили им на смену, были для Петра спасением в том мире, в коем он вынужден находиться, – в мире непрерывного напряжения всех сил, в мире недоверия всем и каждому, в мире постоянной опасности. Петр не верил, не мог поверить, что на вершины богатства, власти его занесло навсегда. Каждое утро он просыпался с мыслью, что это закончится так же внезапно, как началось, и он никто, снова никто, забытый сын царевича, которого не пощадил, которого убил собственный отец...

Самыми лучшими минутами в жизни Петра были тихие утренние мгновения, когда он уже вполне проснулся, осознал, что в бездны ничтожества не сброшен, и, свернувшись клубком в своей роскошной постели, мог вполне насладиться покоем. Минуты эти были кратки, на императора обрушивалась жизнь дворца и двора – шумная, кричащая, слишком яркая, назойливая... А он вообще недолюбливал слишком громкие звуки, слишком яркие краски, слишком необычных или даже обладающих незаурядной внешностью людей – именно потому, что

смутно чувствовал некую угрозу во всем, что *слишком*. И даже слишком красивых женщин не любил, за исключением тетюшки своей Елизаветы Петровны, которая, с ее синими глазами и каштановыми волосами, с детских лет являлась для него идеалом гармонии. А вообще-то ему нравились русоволосые, сероглазые, с нежным румянцем, тонкие станом девушки с мягкими повадками и негромким голосом... Вроде вот той, которая сейчас спешила от дома Долгоруких в сопровождении горничной княжны Екатерины.

Конопатое смышенное личико субретки выражало сейчас крайнюю степень изумления, почти придурковатости. Глаза ошеломленно шныряли по лицам мужчин, руки изумленно всплескивали, а с губ срывались какие-то невразумительные словечки:

– Барин, вот диво-то!.. Диво дивное! Она как рубаху сняли – а там... во какие! – И горничная описала руками впереди себя два внушительных полушария. – Святой истинный крест, не вру!

Петр ничего не понимал, но с удовольствием смотрел на незнакомую девушку в простеньком сарафанчике, перехваченном под высокой грудью. Одетая просто, но на крестьянку не похожа. Сарафан в ту пору был отнюдь не только нарядом простонародья. Его носили и крестьянки, и женщины из небогатых дворянских семей, и в городском сословии, да и дочери княжеские, графские им не брезговали. Дело было только в качестве материи, из коих шили сарафан и рубашку. Этим и различалась одежда богатых и бедных.

Петр отметил, что сарафан незнакомой девушки сшит из хорошего голубого атласа с белой полосой посередине, шедшей сверху вниз и унизанной меленьким речным жемчугом. Из такого же жемчуга было ожерелье, в два ряда охватывающее стройную шею и спускавшееся на грудь, которая заметно волновалась под миткалевой сорочкой. Да и румянец, то взбегавший на щеки, то сменявшийся бледностью, показывал, что девушка очень взволнована.

Ее взгляд перебежал с одного лица на другое со странным выражением ожидания. Мельком улыбнулась она княжне Екатерине Алексеевне, которая уставилась на нее не то удивленно, не то насмешливо, а потом взглянула на загадочного испанского курьера, которому так и не было оказано никакой помощи, – и возмущенно вспыхнула.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.